

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

ПОЭТ И ВЛАСТЬ

(Воспоминания о А. Яшине)

I

Пожалуй, никогда так стремительно не летело время, как в те первые полтора года моей жизни в Москве. Новая, незнакомая, напряженная работа заместителя главного редактора журнала “Молодая гвардия” заставляла меня и в самом деле крутиться подобно белке в колесе. Да и быт, и ритм московской жизни были резко отличны от привычных для меня, провинциальных, и это тоже стоило и нервов, и времени.

И надо ж было так случиться, что именно в те дни настигла меня жестокая и горестная весть: Александр Яшин — мой земляк, мой крестный отец в литературе — тяжело болен, лежит в онкологическом институте уже оперированный... трижды!..

Я знал, конечно, что со здоровьем у него не благополучно. Это стало особенно ясно при последней встрече с ним в Вологде накануне моего отбытия в Москву. Не помню уже, под каким предлогом приехал он тогда в Вологду, но то, что почти сразу по приезде очутился в нашей, вологодской (обкомовской) больнице, — помню точно. Больница эта в ту пору (зимой 1966—1967 гг.) ютилась в старинном деревянном особняке с балкончиком над вторым этажом, и, понятно, лишних палат и даже коек у нее не было. Тем не менее земляку-поэту из Москвы была выделена хотя и маленькая, но все же отдельная комнатка, которую назвать палатой можно было разве только условно.

Больничный режим он себе выговорил довольно свободный, мог в удобное время облачиться в свою одежду, прогуляться по улочке, навестить знакомых. В один из первых дней я пришел к нему и предложил пройтись до моего дома, посидеть за чашкой чая, отвести душу за разговором. Он охотно согласился, хотя чувствовал себя неважно: мучила астма, чаще, чем обычно, подступал кашель, причем тяжелый, продолжительный...

Мы с женой делали все, чтобы пребывание в нашем доме было ему не в тягость, угощали нашими “национальными” деликатесами (брусничкой, клюквой), занимали, как могли, разговорами, и он помаленьку оживился, посветлел лицом, однако вскоре попросил: “Можно мне прилечь?... Устал что-то...”

Два месяца лечился-жил он в вологодской больнице — выписался, когда я уже был в Москве. Как лечился, и от чего — не ведаю: не было об этом разговора; как не ведаю и того, почему он предпочел вологодскую больницу столичной, хотя прошло всего лишь четыре года, как в Вологде распинали его за повесть “Вологодская свадьба”, показавшуюся тогдашнему вологодскому начальству (да и официальной Москве — тоже) клеветнической, оскорбительной для вологжан (более подробно на этом я остановлюсь ниже).

Обдумывая сегодня ситуацию того времени, я прихожу к мысли, что в Вологду он приехал потому, что Москве уже не верил, боялся ее, чувствовал ее

отчужденность и даже враждебность к нему. Кстати, диагноз его страшного заболевания, как я узнал потом, Москва так и не смогла определить. Это сделала одна из клиник Литвы, куда он приехал в составе делегации за месяц до смерти...

Так вот, хотя я и знал о недомогании Александра Яковлевича, все равно весть о том, что он лежит в онкологическом институте и ему сделана тяжелейшая операция, буквально сразила меня. С сожалением вспомнил, что летом 1967 года я не использовал предоставлявшуюся мне возможность еще раз пообщаться с ним: было приглашение от вологодских писателей совершить путешествие по реке Сухоне от Вологды и аж до Великого Устюга — отказался... Прошло всего пять месяцев, как я впрягся в журнал, и, право же, было не до путешествий. А Александр Яковлевич приглашение принял.

Кто-то из вологжан рассказывал мне потом, что "круиз" удался на славу. Особенно хорошо, душевно-открыто, несмотря на недомогание, чувствовал себя А. Яшин: всему дивился, всему радовался, словно открывал мир заново. Где ни приставал теплоход, он первым сбегал по трапу на берег, непременно с удочкой, и ликовал по-мальчишески, поймав окунька или сорожку. Ни Николай Рубцов, ни Александр Романов не были столь удачливы, забрасывая удочки рядом с ним, не говоря уж о Викторе Коротаеве — тот больше проявлял себя возле "бедной" ушки*.

До сих пор сокрушаюсь, что все это было без меня, что я упустил случай еще раз повидаться с дорогим для меня человеком.

...И вот Яшин тяжело болен. Яшину сделана операция... Бросаю все дела, сую в портфель подвернувшуюся под руку баночку свежего (вологодского!) меда, еду к нему... А в голове все раскручивается и раскручивается лента памяти, на которой совсем еще отчетливы кадры, запечатлевшие встречи с ним и в Москве, и в Вологде, — и разговоры, разговоры... Не о стихах — что было бы естественно для двух поэтов, — а о жизни, о положении дел в деревне, которая и для него и для меня была, что называется, родной матерью.

* * *

При советской власти А. Яшин (Попов) стал первым из вологжан, пробившихся в большую литературу. Были у нас до 1917 года Батюшков, Засодимский, Гиляровский, но сейчас первым был он — Яшин, паренек из дальней-дальней деревушки Блудново на востоке Вологодской области. Думается, что такое название деревня потому и получила, что в глухих лесах, где срубил когда-то первую избушку русобородый землепроходец, еще долго-долго блудились мужики и бабы, отправясь в лес то ли по грибы, то ли по ягоды, то ли по мягкое золото — за собольком да куницей...

Блуд-но-во...

Но юный Саша Яшин не заблудился на безвестной для него дороге, на которую вывел его дар стихотворца. Не сразу в Москву привела его та дорога; сначала был родной городок Никольск, потом ближний сосед его — Великий Устюг, а вскоре (большого кривуля дала дорога!) ему открылись и Вологда и стоящий на суровом взморье Архангельск. И лишь после него — Москва, Литературный институт.

Едва закончил его — война! Ленинградский, а затем Сталинградский фронт. Не погиб, даже не был ранен, а вот здоровье подорвал. Из-за невозможности продолжать службу весной 1944 года демобилизовался.

Каждое лето стал ездить в Блудново. Свидание с родиной, с памятным местами — речкой Юг, полями и лесами — было для него лучшим лекарством.

Навещал и Вологду, чаще на обратном пути... Зная, как нелегко даже талантливому человеку пробиться в литературу, внимательно, заинтересованно

* Виктор Вениаминович Коротаев — талантливый поэт-вологжанин, скоропостижно скончался 18 мая 1997 года в возрасте 58 лет.

знакомился со стихами начинающих, приезжал на областные совещания вологодских литераторов, руководил творческим семинаром поэтов.

Мне посчастливилось быть одним из первых, кто был замечен и — не покривлю душой — обласкан Александром Яковлевичем. Попал ему в руки мой первый сборничек стихов “Завоеванное счастье”, вышедший в Вологде в 1949 году, — слабенький, конечно, — но мастер увидел в нем все же что-то обнадеживающее, ободрил меня и дал рекомендацию в Союз писателей. А еще и Валерию Дементьеву, книжечка которого вышла одновременно с моей.

Скажу честно: большой аванс выдал нам уважаемый земляк! Надо было очень любить Вологду и очень хотеть вывести ее в люди, чтобы вот так, потцовски заинтересованно, поддержать молодых земляков.

Но и это не все...

Где-то в первой половине 1949 года вызвал меня к себе Вологодский горвоенкомат и предложил **добровольно** подать рапорт о возвращении на военную службу. В воздухе тогда снова запахло грозой: Америка — одинолично! — обзавелась атомной бомбой...

Я почти всю войну командовал зенитно-артиллерийской батареей, в конце ее был назначен ПНШ* полка. Военкомат, конечно, знал мою военную биографию, как знал и то, что я пишу стихи и уже печатаюсь, и потому предложил мне службу не в войсках ПВО, а сотрудником редакции газеты Архангельского военного округа.

— Если не пойдешь добровольно... — пригрозил военком, — призовем приказом, но уже не в редакцию газеты, а командиром батареи.

Как я чувствовал себя в эту минуту? Думаю, не лучше, чем человек, которому только что зачитали суровый приговор. Ведь прошло всего три года, как я вырвался на “гражданку”, и вот — снова погоны, шинель, сапоги... Снова: “Равняйся!”, “Смирно!” — и тревоги, учебные стрельбы...

Подал рапорт. “Добровольно”.

Приказ о призыве пришел осенью. В окружной газете к тому времени места для меня уже не оказалось. Направили в “дивизионку”. Печаталась она в Вологде. “Ну что ж, — подумал, — нет худа без добра: не надо переезжать в Архангельск. И то ладно”.

И потянулись дни моей каторги... “Заметки” в очередной номер газетенки нужно было собрать у солдат, а чаще — написать за них... Ужасно “творческая” работа!

Поделился я своей бедой с Александром Яковлевичем, взмолился: “Выручайте, если можете!” И Яшин уговорил А. Фадеева — генерального секретаря Союза писателей — ходатайствовать перед Главным политуправлением Армии о моем увольнении в запас.

Через полтора года — о чудо! — меня демобилизовали. Второй раз!

Для жизни полтора года — не срок, но для творчества, в самую-самую пору, когда рука рвалась к перу, — это много. Но ведь если бы не Яшин, вышло бы и того хуже: на литературной карьере наверняка пришлось бы поставить крест.

Поздравив меня с увольнением из армии, Александр Яковлевич тут же посоветовал взять творческую командировку на одну из “великих строек коммунизма” (так они тогда назывались), например на Волго-Донской канал, и выхлопотал для меня такую командировку. Сам он к тому времени на этой стройке уже побывал. И я до сих пор недоумеваю, почему он посоветовал и мне поехать туда же. Может быть, ему показали там совсем **не то**, что потом увидел я (кстати, вместе с Сергеем Орловым). Впрочем, об этом после.

Прошло еще два-три года — А. Яшин публикует рецензию на мой новый сборник стихов, а вслед за этим берет на редактирование в издательстве “Советский писатель” рукопись первой моей московской книжечки, приглашает меня в Москву, и я полмесяца живу у него на даче, по его замечаниям довожу рукопись до кондиции...

* ПНШ — помощник начальника штаба.

Александр Яшин... когда я думаю о нем, вертится у меня на языке вот эта фраза: “Среди вологодских он был самым вологодским”. И не только потому, что и в Москве говорил *окая*, но еще и потому, что сохранил на всю жизнь непосредственность, доброжелательность и совесть, коими отличаются люди северной русской деревни.

По характеру он был не простым человеком: в добром расположении духа, рассказывая о чем-нибудь своим силным, прерываемым кашлем голосом, он, случалось, заразительно смеялся, шутил, но чаще все-таки был по-крестьянски насторожен, недоверчив, то с пронзающим тебя пытливым взглядом, то с задумчивой отстраненностью, сосредоточенностью в себе.

Резкий, порой ироничный в своих сочинениях, он был подозрителен и даже мнителен в отношениях с людьми. Зайдем, бывало, с ним к первому секретарю обкома, просто так, с визитом вежливости, ну и — слово за слово — разговоримся. Вызывая на откровенность хозяина кабинета, он становился откровенен и сам, а подчас, может быть, даже дерзок. Я понимал: он проверял на секретаре свои убеждения, свое понимание известных ему фактов или проблем. Ну и выдавал собеседнику, как говорится, по полной. Но едва мы выходили на улицу, начинались сомнения: “А может, не надо было так?” Я утешал его: “Да все нормально, Александр Яковлевич! Секретарь, поди-ка, и не такое слышал”. Помолчав минуту, он решительно рубил: “Ладно! Пусть знает!”

Помню его на трибуне — перед огромным, переполненным залом Дворца культуры: такие аудитории собирали наши литературные вечера в дни работы творческих семинаров молодых писателей. Александр Яшин не был поэтом-трибуном, читал стихи без заученных театральных жестов, спокойно, неторопливо, как читают проповеди: “Спешите делать добрые дела!” Это стихотворение, и еще “Орел”, он неизменно включал в свою программу, считая, что в них удалось ему выразить главную, стержневую суть своего нравственного кредо.

Когда я приезжал в Москву, первым моим желанием было повидаться с ним, поделиться своими жизненными наблюдениями, своими радостями и огорчениями. Знаменитый писательский дом в Лаврушинском переулке, в котором ему, как многодетному, была предоставлена четырехкомнатная квартира, встречал меня неизменно приветливо и дружелюбно. Бывало, я еще не сбросил пальто и шапку, а он уже распахивает дверь в свою комнату (в “кабинет!”), подвигает стул — и: “Ну, как там на родине? Рассказывайте!”

Он знал, что я много ездю по области, по неделям живу в деревнях, пишу очерки для областной газеты, а однажды сподобился выдать даже фельетон. И, как на грех, — о его земляках, никольчанах (по названию родного его Никольского района)... Как я там оказался? Совершенно непреднамеренно: не бывал до той поры — ну и поехал...

Область наша огромная, и отстоящие друг от друга на 300—500 километров уголки ее так непохожи друг на друга, что не удивляться, не восхищаться этой непохожестью, не любоваться ею было просто невозможно. Западные районы, граничащие с Ленинградской областью, очень разнились с восточными (Великоустюгским, Никольским, Тарногским), примыкающими к Кировской (Вятской) области; разнились, в первую очередь, *ладом* крестьянской жизни, обычаями и нравами и, конечно же, говором, частушечными напевами, наигрышами, праздничными уставами, свадебными обрядами, не говоря уж о коньках на крышах, о резьбе на карнизах и наличниках.

Сам А. Яшин в очерке “Ладно ли?” (“Литературная газета”, 1963 г.) сообщает еще более экзотические подробности на этот счет: “В Вологодской и Архангельской областях — что ни район, то свой особый говорок: мы окаем, цокаем и чокаем...”

В Тарногском районе женщины и по сей день носят расшитые бисером кокошники и встречным вместо приветствия молчаливо отвешивают низкие поклоны, касаясь земли рукой”.

И вот я у никольчан, у яшинских земляков. Даже в Блудново побывал, с

матерью его, Евдокией Григорьевной, познакомился. Часами сидел в других избах, к дояркам заглядывал, к механизаторам... С кем ни заговорю — то и дело слышу: “был у пива”, “были у пива”... И это означало: гуляли, пили-ели, веселились... Поначалу я не придавал особого значения этой детали в разговорах: деревенское пиво для меня не было внове. В моем, Белозерском районе, селяне тоже знали толк в пиве, умели его и варить, умели и пить. У каждой уважающей себя хозяйки имелись на этот случай специальные горшки (пивные “корчаги”), доставшиеся от матери, а то и от бабушки, — пузатые (с годовалого ребенка высотой — не меньше), прокаленные в печах и потому черные, обязательно с дырочками-краниками у донышка; имелись и братины, из которых пили, держа их двумя руками. Ну а раз было все это “обзаведение”, то водился и солод (пророщенное зерно), и хмель — мягкие душистые бубочки, выращенные с помощью колышков, воткнутых в землю где-нибудь за банькой или двором.

В николевских деревнях пивное дело, как я узнал, с давних пор было поставлено на широкую ногу. Варили его не для себя только, то есть не для семейного застолья, как у нас в Белозерье, но для всей деревни сразу, а при колхозах — для всей бригады. Понятно, что пивные горшки при таком размахе выглядели бы детской забавой, поэтому варили пиво в огромных деревянных чанах (Яшин их называл “лагунами”), сделанных по типу ушатов, только в три-четыре раза шире по диаметру. И поскольку в печку такую “посудину” не затолкаешь и костер под ней не разведешь, калили на огне камни и бухали их в чаны, и они, как уверяли меня мужики, справно делали свое дело: пиво получалось отменное.

Поначалу собирались “у пива” то ли по завершению жатвы, то ли по случаю праздника, нового ли, старого ли — все равно, а потом стали собираться обыденно, соблюдая очередь.

Скажу честно, сделанное мною “открытие” не умилило меня (вот, дескать, как весело и дружно живут колхозники!), а скорее удивило и даже огорчило. На фоне далеко не блестящих дел коллективная, регулярно повторяющаяся пьянка показалась мне диковинкой и не таким уж безобидным обычаем — худшим, как тогда говорили, “пережитком прошлого”.

С этим убеждением я и взялся за перо, вернувшись домой. И получился у меня, как я уже сказал, фельетон “У пива” — другого заголовка у него просто не могло и быть. Скажу без ложной скромности, фельетон имел успех, его читали по деревням вслух, газету передавали из рук в руки. Да оно и понятно: тема-то какая: у пива!

Дошло мое скромное сочинение до Александра Яковлевича, и он, как мне стало известно потом, не одобрил его, а мне, как автору, попенял: дескать, “у пива” — народное действо, давний обычай, и смеяться над ним не стоило бы. А кроме того, для колхозников это, может быть, **единственная** возможность передохнуть, развлечься после нелегкого, вечно не регламентированного труда...

Скажу честно, такого взгляда на свой фельетон я даже не предполагал. Я был одержим одной мыслью: с пьянством, в любой форме, надо бороться, ибо оно уже тогда угнетало народ, мешало ему жить по-человечески, приобщаться к культуре; из-за пьянства затягивались, а то и вовсе срывались полевые работы, калечились люди, а нередко и погибали...

Прошло после того семь-восемь лет. Александр Яковлевич побывал (в очередной раз) на родине сам: пригласила на свою свадьбу двоюродная сестра Нина. Соблазнился редкой возможностью пообщаться с земляками в столь неординарной, живописной обстановке и уж наверняка посидеть “у пива”, послушать, о чем говорят-думают люди, а потом, может быть, и написать об этом. На деле все так и вышло: и посмотрел, и послушал, и написал. Получилась почти документальная повесть, которую он так и назвал: “Вологодская свадьба”. Журнал “Новый мир” охотно ее напечатал (№ 12 за 1962 г.).

Читая “Свадьбу”, видишь: что касается разговоров — в них недостатка не было. За столом (надо полагать, не без воли автора) оказались представители всех сельских служб и профессий: директор льнозавода, рабочие лесопункта,

учителя, а кроме того, колхозники-механизаторы, пенсионеры, молодежь. И у каждого свои проблемы. Было о чем поговорить!..

А вот пива на свадьбе не оказалось. И никто о нем даже и не вспомнил... В том числе и сам автор. Казалось бы, естественно с его стороны поинтересоваться: как так, свадьба — и без пива? Может, варить разучились? “Лагуны” порассохлись? Хмель повывелся? Прямого ответа в повести нет.

Ну а разговоры — о чем они?

Уединившиеся на кухне две бабонки — Тоня и Груня, жены мужиков, которые вовсю шумели (не с пива!) в эту минуту в горнице, делятся беспросветной “радостью”, коей отмечена их жизнь:

Тоня:

“Кабы не водка, может, мы и по-людски бы жили. Шибко много водки стали пить после войны... Недавно у нас баба удавилась, тоже из-за мужика, из-за пьянства...”
О своем муже Тоня добавляет:

“Лес воровал. И все для водки, все для зеленого змия... приходит домой пьяный. “Клады, говорит, голову на плаху!” — “Не положу, говорю, ребятишек жалко, что с ними с тремя будешь делать?” — “Полезай, говорит, в петлю сама, чтобы на меня подозрения не было...”

Я им говорю (работникам милиции. — С. В.): “Он же меня убить грозитя, ребятишки ведь без матери останутся... Свою избу однажды поджигать стал”. А они говорят: “Вот когда допустит что-нибудь этакое, тогда мы и заберем его и приструним”.

Груня:

“Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз... У тебя, может, хоть дерется не так грозно, все-таки ведь безрукий (инвалид войны. — С. В.), ударить сильно, поди, не может... Мой-то — зверь настоящий, кулаки у него железные”.

Тоня:

“Что только не тащили тогда с завода, чтобы пропить. Водка все смывала с рук...”

Так вот почему, оказывается, пива-то нет на свадьбе: водочка его повытеснила, а вдобавок еще и самогоночка. Это “открытие”, как мне кажется, поразило А. Яшина намного сильнее, чем несколько раньше удивила и огорчила меня никольская традиция “у пива”.

На описываемой Яшиным свадьбе пили самогонку. Известно, что канители с ней намного меньше, а градусы при этом значительно авторитетнее. Мария Герасимовна — мать невесты — угощает заглянувшего на кухню директора льнозавода (в знак особого к нему уважения) “первачом”. Наливает чарку и с гордостью добавляет: “Горит!” Директор с вождением переспрашивает: “Горит?” — и за одно дыхание осушает сосуд.

Вот так... Нужно такому гостю пиво! Да хоть век его не будь — и не вспомнит. Пережиток прошлого — не более — пиво-то для него. Да и для остальных — тоже. Вместо пива на свадьбе пьют “бражку” — на дрожжах да на сахаре взошедшее пойло желтого цвета, которое “вяжет” ноги и “развязывает” языки. А если сахара не удалось достать, в дело идет картошка, что однажды и засвидетельствовал сам поэт:

То в Липове, то в Пермаше шанга, —
Так здесь зовут картофельную брагу.
Шанга не пиво, но сбивает с шагу
И так же заливает берега.

Не был безразличен, оказывается, А. Яшин к проблеме пьянства и в предшествующие годы. И потому вполне логичен его разоблачительный пафос, к которому он прибег в “Вологодской свадьбе”. Рассказанные несчастными женщинами жуткие картины пьянства в деревне звучат как гневное обвинение руководителям государства. Писатель как бы говорит им: “Спаиваете народ, господа! Спаиваете — и значит убиваете его... Похоже, с умыслом”.

Можно представить, как это задело “верных ленинцев”, как взбодрило их спесь. Чего-чего, а такого обвинения, такого разоблачения они не ожидали,

поскольку были уверены: цензура свое дело знает! Они рассчитывали, что за ее спиной, за ширмой газетных рубрик “Пьянству — бой!”, пробавляющихся веселыми хохмочками об “отдельных любителях спиртного”, статистики о клиентуре медвытрезвителей и ЛТП* будут и впредь оставаться в тени, сохранять лицо народных заступников, ни о чем другом так не пекущихся, как о лечении несчастных алкашей, о повышении культуры питания, о гуманном отношении к пьяному человеку...

Но, как показало время, были в руководстве деятели и другого толка. По-тихому спаивая народ, и в первую очередь — коренной, русский, они глядели намного дальше. Они видели в пьянстве главное орудие геноцида, подталкивающего нацию к вымиранию, а Россию как государство — к катастрофе. И потому, осуществив очередной переворот в России и захватив в ней власть, они сбросили с себя маску народных заступников и с бешеной энергией, нагло, в открытую продолжили знакомое им дело — спаивание народа. С этой целью ими была отменена государственная монополия на производство и продажу алкоголя, сняты все ограничения на ввоз его из-за рубежа.

Все спиртзаводы СНГ, Европы и Америки работают сегодня на русского мужика. Результат — потрясающий, головокружительный! Средняя продолжительность жизни мужчин в России за пятилетку сократилась на 7 лет: в городах — до 57 лет, в деревнях — до 54-х. Расходы на пенсию сократились наполовину: на нее претендуют теперь в основном женщины. Пока...

Но посмотрим, что там еще в “Свадьбе”...

“Среди мужчин на пиру, — делится А. Яшин еще одним наблюдением, — очень скоро объявляются типично русские правдоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех... Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать? как быть? кто виноват? и знают ли о наших бедах наши главные? видят ли они всё?”

Важное наблюдение... Да и вопросы не пустяшные: “кто виноват? знают ли главные?” И хотя писатель вкладывает их в уста застольных правдоискателей, мы-то понимаем, что мучают они — и крепко! — в первую очередь его самого. И написал он “Вологодскую свадьбу” как раз для того, чтобы поставить эти вопросы перед самим руководством и вынудить его дать ответы на них. Те, кого эти вопросы касались, хорошо это поняли. И, набычась, сдвинув брови, тяжело задышали: они привыкли задавать вопросы, а не отвечать на них. Их смутило, а может, даже испугало традиционно замалчиваемое бескультурье и бедность деревень, подобных деревне Сушиново, в которой “до сих пор нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба”.

А пуще задело их недоброе отношение к партии, сомнение в ее святости. Мать невесты, рассказывая о сыне Николае, с огорчением свидетельствует: “Затаскали совсем”. И, вздохнув, поясняет: “Раз в члены вступил, так терпи”. И хотя слова “партия” тут нет (работа цензора!), читателям все равно ясно: сын ее вступил в члены партии. А поскольку партия в стране одна, значит, в члены КПСС. Но почему она такая, партия эта, что, вступив в нее, надо терпеть? Почему, повторяя без конца: “Народ и партия едины”, она унижает народ этим самым терпением? Вынуждает помалкивать в тряпочку, что бы ни случилось в колхозе, в районе, в стране? И каким силам в руководстве партии это было особенно нужно?

Глубоконокко копнул автор, за живое задел. И хотя в повести ответов на эти вопросы нет, как, впрочем, и на те, что поставлены захмелевшими правдоискателями, все это, вместе взятое, было квалифицировано как антипартийный выпад... Обычная демагогия тех лет!

С высоты сегодняшнего дня особенно хорошо видно, что ореол непогрешимости, который упорно напяливали на партию сторонники силового стиля руководства, ни на йоту не прибавлял ей авторитета, народного уважения — наоборот, все больше отдалял от народа. Это и стало, на мой взгляд, одной из главных причин ее бесславного ухода со сцены: трепачей, лжецов и зазнаек народная мораль начисто отвергает.

* ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий.

Свадьба, на которой довелось быть гостем А. Яшину, мне представляется всего лишь бледной копией свадеб, игравшихся по всей Руси в старое время, до 1917 года. Апогеем той, старой свадьбы, было венчание в церкви, свадебный поезд, величальные песни и причеты невесты, шутки и прибаутки “дружки”. От всей красоты того свадебного обряда остались лишь черепки, как от жестоко разбитой вазы. А. Яшин попытался склеить их, чтобы они хоть немножко напомнили о “вазе”, описал увиденное, как мне кажется, с излишней беспристрастностью, как бы со стороны, но зато без пропусков и умолчаний, описал так, как “описывает” фотоаппарат, когда объект оказывается в фокусе, то есть предельно правдиво, а некоторые сцены даже натуралистично.

Однако правда писателя оказалась не адекватной той “правде”, которую озвучивали тогдашние партийные лидеры в докладах и постановлениях. И не удивительно, что “Вологодской свадьбе” без промедления был вынесен стандартный для того времени приговор: “Очернительство! Клевета на советскую действительность”.

Это в “верхах”.

А в “низах”, в родной писателю Вологде, политические обвинения тут же были подкреплены грубыми и оскорбительными действиями. Вот что писал по этому поводу А. Яшин А. Твардовскому с Бобришного Угора (26 августа 1963 г.):

“Кажется, я снова смогу писать. Только бы забыть еще кое о чем, слишком уж обидном. Из Вологодского областного музея выкинули мою фронтовую флотскую шинель, которую они сами же выпросили у меня в качестве экспоната войны. Конечно, и все книги мои. Это все после проработки “Свадьбы”...”

Может быть, приговор “Свадьбе” и не был бы столь категоричным, если бы за автором не числился к тому времени еще один “грех”, причем более тяжелый — “клевета на партию”, обнаруженная бдительными аппаратчиками идеологического отдела ЦК в рассказе “Рычаги”.

Перед читателями рассказ этот как чудо предстал в короткую-короткую “оттепель” после XX съезда, и не в журнале каком-нибудь, не в многотиражной газете, а в коллективном сборнике “Литературная Москва” (втором по счету — первый вышел годом раньше и был приурочен к открытию XX съезда). Воспользовались писатели-москвичи либеральным душком, повеявшим после съезда, собрали все, что отвергалось журналами, и тиснули. Книга получилась солидная — 800 страниц! И “гвоздем” ее стал рассказ “Рычаги”...

Недавно я перечитал его. Перечитал и грустно улыбнулся: “Господи, из-за чего сыр-бор разгорелся! Всю прессу подняли на ноги, Союз писателей, обкомы, райкомы!..” Не тогда ли А. Яшин произнес слова, запомнившиеся его вдове, Злате Константиновне: “Я вступал не в эту партию!..”

С момента публикации рассказа “Рычаги” прошло сорок с лишним лет. Те, кто его тогда читали, теперь, видимо, подзабыли, а молодое поколение и вообще не видело его в глаза: крамольный рассказ был внесен в список запрещенных, цензура не позволила включить его даже в трехтомник — наиболее полное посмертное собрание сочинений А. Яшина, изданное в 1984—1985 годах. И что уж совсем смешно: о “Рычагах” ни слова даже в монографии о творчестве писателя, написанной известным критиком А. Михайловым (“Советская Россия”, 1975 г.). Учитывая это, считаю необходимым напомнить читателям содержание рассказа.

...В правлении колхоза (а это обычная вологодская изба с русской печью посредине) перед партсобранием, назначенным на вечерний час, коротают время четверо партийцев — председатель правления колхоза, бригадир-полевод, кладовщик и животновод — он же секретарь парторганизации Ципышев. Как всегда в такие минуты, мужики “смолят” махорку, откровенно, без оглядки говорят обо всем, что на уме, как говорят (случалось слышать) у рыбацкого костра или во время залоги на сенокосе, за чашкой чая в избе... Районному руководству в этой беседе — особое внимание, ну а секретарю райкому — тем более.

Председатель сказал, что этот самый секретарь третий раз не утвердил составленный правлением колхоза план весеннего сева, потребовал увеличить

площадь под **какую-то** культуру, видимо, под кукурузу (действие происходит в хрущевские времена): “Дайте, говорю, хоть десять, ну двадцать гектар на первый раз, а не сто, не тысячу. Привыкнем — сами прибавим, сами будем просить больше. Давайте не сразу...” “Нет, говорит, сразу. Надо активно внедрять новое”. Активно-то, говорю, активно, да ведь у нас север, и народу мало, и земля — она своего требует. Людей убеждать надо. Ленин указывал — активно убеждать надо. А он говорит: “Вот ты и убеждай! Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали, а сейчас ты убеждай других, проводи партийную линию. Вы, говорит, теперь наши рычаги в деревне”.

Спокойно вроде бы рассказывает председатель о произволе райкомовского секретаря, но нельзя не видеть, что спокойствие это напускное, внешнее... Бригадир-полевод, выслушав председателя, вытаскивает из сердца свою “занозу”: “Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся...” — а через минуту-другую, уже как выстраданное, как вывод, негромко, но твердо добавляет: “Пока нет доверия к самому рядовому мужику в колхозе, не будет и настоящих порядков, еще хлебом горя немало... Мужику доверять надо. У него тоже ум есть”.

Вот так, на таком уровне откровенности и глубокого недовольства политикой партии в отношении к мужику говорят четверо сельских коммунистов. И все было бы хорошо: поговорили, отвели душу — и забыли, не в первый раз — да и пора было начинать собрание, — все было бы хорошо, если бы молчавшая до сих пор за печкой бабка Марфа-уборщица не рывкнула вдруг на бригадира, вставшего вытряхнуть под порог окурки из горшка: “Куда сыплешь, дохлой?... Пол только вымыла, опять запаскудили весь”.

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись. Так что же это, дескать, получается? Марфа-то все еще тут, все еще не ушла? И, значит, слышала, что они говорили?..

Но ахать и бранить себя за простофильство было уже некогда. Явилась, наконец, и учительница — пятый и последний член парторганизации. Кворум!

“Начнем, товарищи! Все в сборе?” — встав, проговорил Ципышев, точно так, как это говорит, открывая совещания, секретарь райкома. И с этой минуты всех пятерых словно подменили. Всё, что навязывал райком, в том числе и расширение посевного клина под кукурузу, было одобрено ими, “расхождения во мнениях не обнаружилось”...

Партийные идеологи встретили рассказ в штыки. Вместо того, чтобы снисходительно, с пониманием улыбнуться наивности героев рассказа, полуграмотных мужиков, старающихся подражать на своем партсобрании районным пленумам, улыбнуться, а заодно и похвалить писателя за глубокое проникновение в психологию затурканных постановлениями и ЦУ (ценными указаниями) колхозных партийцев и сделать выводы, внести коррективы в стиль и методы партработы, — вместо этого они встали в позу оскорбленных, изготовились “дать сдачи”, как любит выражаться нынешнее российское руководство. Критику снизу, а со страниц литературных изданий особенно, они считали непозволительной и очень раздраженно и даже болезненно реагировали на нее.

“Клевета! Не бывает коммунистов двуличных!” — так опровергался яшинский рассказ. Сегодня те опровержения особенно смешны. Не было, значит, лицемеров и фарисеев в партии? Не было двуликих Янусов? Но откуда же взялись потом “перевертыши” и предатели? Притом не из числа колхозных партийцев и даже секретарей райкомов — бери выше!..

...Но вернусь к “Вологодской свадьбе”. История с нею имела весьма любопытное продолжение. Кто-то из идеологов-рационализаторов в хрущевские времена придумал и ввел в моду поистине новаторский способ опровергать писателей (а точнее — громить их “антисоветские” сочинения) не от имени партии, не специальными “постановлениями по литературе”, а от имени народа, народным мнением, народной дубиной...

На страницы литературных журналов с трудом, но все же прорывались

“острые” произведения (эпитет “острые” в литературно-критических статьях той поры был весьма популярен; читатели такие произведения называли “смелыми” и, пожалуй, были ближе к истине). Так вот, прорывались. И нередко... Несмотря на строгости цензуры, на сделанные по ее требованию сокращения и текстовые поправки, в этих произведениях **главное** все же оставалось. Однако на взгляд церберов от идеологии и скрытых доносчиков-недоброжелателей (были такие, думаю, у каждого журнала) это главное квалифицировалось нередко как идеологически ущербное, “антисоветское” (в обиходе — крамольное).

Функционеры идеологических служб партии вчитывались в такие произведения с особым пристрастием. С их подачи они подвергались критике, подчас очень резкой, на страницах “Известий”, “Комсомольской правды”, а то и “Правды” — что было совсем уж плохо для автора: возражать партийному официозу (печатно) было не принято.

Ясно, что статьи в этих газетах, нередко демагогические по тону, начетнические по исполнению, не прибавляли авторитета партии (она руководила печатью), скорее — наоборот, подрывали авторитет. Чтобы не нести подобного урона, и были придуманы пресловутые “письма земляков”. Отобразил писатель что-нибудь **не так** (то есть слишком много уделил внимания негативным сторонам жизни) — земляки тотчас к нему с упреками, с нравоучениями: и куда же ты, дорогой наш земляк, глядел? Ай-яй-яй!.. Так отстать от жизни! Твоя землячка Марья Ивановна по четыре тысячи литров молока от каждой коровы надаивает, орденом награждена, а ты о чем?.. И до последней точки в таком духе. А в конце — с полсотни подписей, а то и больше.

Именно такая вот “дубина народная” просвистела и над головой А. Яшина. “Письмо земляков” сочинил молодой журналист из редакции областной газеты. Собрать подписи под ним в деревню Блудново выезжала целая бригада, в составе которой был даже сотрудник “Комсомольской правды”. 31 января 1963 года (прошел всего один месяц после выхода журнала с повестью) письмо появилось в “Комсомольской правде”: “Свадьба с дегтем!” Хлесткий заголовочек! И не хочешь, да прочтешь.

Подписей под письмом А. Яшин насчитал 51... Обиделся? Нет... Скорее — пожалел мужиков и баб за то, что взяли грех на душу, подписались, не прочитав повести... А когда им читать-то? У многих и в уме-то нет такого... “Новый мир”! Да они отродясь и не слыхивали о таком журнале!..

“Письма земляков” идеологам из ЦК, видимо, показалось мало. По их указке Вологда объявила читательскую конференцию по злосчастной повести. Разработку сценария конференции и подготовку к ней взял на себя обком КПСС. По его заданию писали речи тщательно подобранные выступающие — преподаватели пединститута, студенты, журналисты. Были вызваны в Вологду и представители колхоза, в котором состоялась описанная Яшиным свадьба, — они должны были подтвердить, что землячок “оклеветал” их, незаслуженно обидел, не считаясь с тем, что в повести нет ни одной подлинной фамилии, ни одного подлинного названия деревень. Посылая номер журнала с повестью в районную библиотеку, Яшин приписал: “Только не ищите прямых параллелей, чтобы не было никаких обид на меня”. Где там! Не вняли...

Особенно готовились к выступлениям старые большевики, хлопотавшие в это время о пенсиях: какой она будет — областного или республиканского значения, — зависело целиком от обкома, лично от товарища А. Сталя — секретаря по идеологии.

Сталь — это была, конечно, не настоящая его фамилия. Начав свою карьеру журналистом, он быстро вырос до редактора областной газеты “Сталинская молодежь”, тогда и придумал себе скромненький псевдонимчик “Сталь”, будучи от рождения Мухиным. С легкой руки писателя-вологжанина К. Коничева все звали его за глаза “Сталь-мухой”...

В дни, предшествовавшие конференции, друзья мои и знакомые спрашивали меня при встречах: “Будешь выступать?” “Буду”, — отвечал я. Естественно, “Сталь-муха” узнал о моем намерении. В день конференции, утром, он пригласил меня в обком:

— Это правда, что ты собираешься защищать Яшина?

— Да, собираюсь, — ответил я.

— А линия обкома тебе известна?

— Пока нет.

— Так вот, обком считает повесть А. Яшина очернительской, оскорбляющей вологжан. Ты — член обкома и выступать против линии обкома не имеешь права. А если все же выступишь — пеняй на себя.

На какое-то время я опешил: столь наглого диктата до сих пор мне не доводилось испытывать. Вместе с тем понял: Сталь боится, что я могу испортить ему “обедню”. Надеюсь рассеять его страх, сказал, что намерен говорить не только о достоинствах повести, но и о недостатках... А мне действительно не по душе было нарочитое, на мой взгляд, снижение культурного и морального облика деревенских людей, что особенно проявилось в сцене, когда один из гостей, недавно ставший счастливым обладателем вставной пластмассовой челюсти, демонстрирует ее как чудо свадебному застолью. Не меньшее недоумение вызвала у меня и сцена “казни” курицы перед изумленными гостями. Мужик, хочется сказать — куриный палач, держа жертву за шею, так встряхнул ее, что туловище тут же шлепнулось на пол, подпрыгивая и брызгая кровью, а голова осталась у него в кулаке. Сцена прямо-таки языческая какая-то, отталкивающая — стоит только хотя бы на секунду представить ее, а главное — не несущая в себе никакой смысловой нагрузки, как сообщил об этом сам писатель.

В любом другом журнале автору наверняка посоветовали бы убрать эти явно натуралистические сцены. Новомировцам же столь “живописные” картинки **свадьбы аборигенов**, надо думать, пришлись особенно по душе, поскольку не противоречили их представлениям об этом народе, и что особенно важно — принадлежали перу русского писателя.

Все эти мысли я держал в голове и готов был высказать их секретарю, но, увидев, что он вызвал меня совсем не за тем, чтоб выслушивать, замолк. “Я вас понял”, — сказал запретителю и вышел. Считая себя оскорбленным, решил в запале: на конференцию не пойду! Пусть без меня разыгрывают этот спектакль. Приходила в голову и такая мысль: выступлю я, не выступлю — что изменится? Спектакль все равно будет разыгран до конца. Да он уже и разыгран. И не здесь, на глухой провинциальной сцене, а на столичной, и зрителями его стали миллионы людей — “Комсомольская правда” расходится по всей стране... * Пусть тешатся — не пойду!

Однако, поуспокоясь, передумал: нет, я должен пойти! Я должен видеть это своими глазами!

...Конференция началась при полном зале. На сцене — президиум, утвержденный “Сталь-мухой”. А за кулисами, как мне рассказали потом, прохаживался готовый дирижировать “оркестром” прибывший из Москвы “уполномоченный” с не очень подходящей для русской свадьбы фамилией Петерсон — потомок латышских стрелков, прославившихся на всю Россию своей жестокостью в гражданскую войну.

К сожалению, теперь, через тридцать пять лет, я не смогу воспроизвести в точности, кто и что говорил со сцены. Помню лишь владевшее мной в те минуты чувство жалости, нет, больше — презрения к людишкам, согласившимся из карьеристских соображений, из соображений личной выгоды сыграть в “спектакле” постыдную роль мосек, науськанных на слона.

Правда, прорвались на трибуну и двое-трое незапланированных ораторов, и они, хотя и сумбурно, но довольно убедительно возражали обличителям... А в целом в душе осталось твердое убеждение, что “спектакль” провалился. Простые люди, сидевшие в зале, были на стороне А. Яшина. Авторитет его как писателя и как борца не был поколеблен. Наоборот, народ проникся еще большим уважением к нему, открыв в нем, в поэте, талант еще и прозаика.

К сожалению, сам Александр Яковлевич не сразу понял это. Он, как мне

* В те годы цековцы для подобных акций чаще всего выбирали именно эту газету: хотя и официоз, но молодежный. В случае чего — можно и откреститься...

кажется, слишком преувеличивал значение “читательской” конференции, переживал, обижался на друзей — не защитили, на обкомовцев — унизили его достоинство...

Впрочем, его можно было и понять...

Вспоминаю теперь комедию со всенародным осуждением (“письмо земляков”) и обсуждением (“читательская конференция”) “Вологодской свадьбы” и мучительно пытаюсь понять: какую же цель преследовали “верхи”, задумывая ее постановку, что ими руководило в этом постыдном деянии? Боязнь за авторитет партии? Ах, если бы авторитет этот создавался словами, а не делами... Тогда что же? Нежелание выносить сор из избы?

Возможно, вполне возможно. Кто-то из выступавших на конференции так и сказал: очернительская повесть — лучший подарок для антисоветчиков на Западе... А почему перед Западом обязательно надо выглядеть чистенькими да румянькими? Ну, покричат там, позлорадствуют по поводу нашей отсталости, нашей бедности... Так ведь не впервой. А кроме того, нам есть что и возразить. Прошло всего полтора десятка лет, как закончилась на нашей земле (на нашей, господа, а не на вашей) небывалая по жестокости и по масштабам разрушений война. Страна успела перебинтовать и даже залечить многие раны. Многие, но не все: не хватало рук. Более двадцати миллионов самых хватких мужиков полегли в землю. Представить только, что они могли бы сотворить на родной земле!

Какось, приходила на ум и такая мысль: а не страх ли перед народом “этой” страны одолевал кой-кого из руководителей-“интернационалистов”, будущих “перевертышей”, тех самых, которые осуществили переворот в 1991 году? Дескать, не известно, как он покажет себя, народ этот, если прозреет... Расстрел новочеркасских рабочих в 1967 году, протестовавших против повышения цен, красноречиво свидетельствует: был такой страх, был! Властного армянина, приехавшего в Новочеркасск усмирять русских рабочих, страх этот тут же загнал за спины солдат местного гарнизона. Выйти к “массам” с “большевистским” словом он побоялся...

Голос писателей, особенно русских, пугал “интернационалистов” и вызывал немедленный и решительный ответ. Этим, и только этим, можно объяснить тот факт, что вслед за А. Яшиным был подвергнут экзекуции “народной дубиной” и Федор Абрамов. Его повесть “Вокруг да около” (редакция “Невы” из конъюнктурных соображений назвала ее очерком), резко критиковавшая силовые методы руководства колхозами, которых придерживались “интернационалисты” и в начале 70-х годов, привела их в стрессовое состояние не меньше, чем “Вологодская свадьба”.

Удар по Ф. Абрамову был нанесен тем же, уже опробованным на А. Яшине, способом. Письмо земляков к нему, с уничижительным, не ими, конечно, придуманным заголовком “Куда зовешь нас, земляк?”, напечатала газета “Известия” — правительственный официоз с многомиллионным, как и у “Комсомолки”, тиражом. Читательскую конференцию, подобную вологодской, в Архангельске, кажется, не проводили: она ничего прибавить уже не могла.

Добавлю к этому: земляки молотили таким же способом и Н. Воронова за его повесть “Юность в Железнодорожке”, и А. Твардовского, напечатавшего ее в “Новом мире”. Идеологической молотилке, рычаги которой были в руках “интернационалистов”, будущих тайных “агентов влияния”, все время нужны были “снопы”, вхолостую она крутиться не могла, обслуживающие ее “подавальщики” лишились бы возможности показать себя, выслужиться перед хозяевами молотилки. И они работали, “подавальщики”, соперничая, шныряли по полям — страницам журналов, выискивая незрелые или, наоборот, перезрелые злаки, вязали в снопы и грохали на стол молотилки, сопроводив это действие соответствующими восклицаниями, от которых у главного идеолога “интернационала”, наверное, глаза на лоб вылезали: сам-то он ведь ничего не читал, все принимал на веру.

После того, что случилось с партией и страной в начале 90-х годов, стало понятно и ежу, что не там искали “подавальщики” (кстати, тщательно подобранные и хорошо натасканные) клеветников и антисоветчиков. И те, и другие вызревали в недрах самой молотилки. Не яшинские “рычаги” и “правдоискатели” заставили крутиться все маховики и шестеренки мощнейшей машины в обратную сторону, в результате чего она сперва, заскрежетав, остановилась, а потом и развалилась.

Главная причина развала партии Горбачева — Яковлева — в ней самой. Она строила свою работу не на честном признании своих просчетов и ошибок и возникавших в результате их трудностей, а на стремлении скрывать и замалчивать эти просчеты и ошибки. Да оно и понятно: признав их, надо было и объяснить, почему они были допущены, а объяснив, посоветоваться с народом, как их исправить. Партия, взявшая на себя миссию служить народу, исполнять его волю, воплощать в жизнь его чаяния, не могла поступать иначе.

А что было на деле? Не замечая кривых ухмылок народа, она все выше громоздила (нередко — на крыши) лозунг: “Партия — ум, честь и совесть эпохи”. Самообольщение и зазнайство видел в этом лозунге народ — не больше. А ведь совсем другое дело было бы — объяви партия “ум, честь и совесть” как свою цель, стремление к этой цели как к идеалу, как к совершенству. Увы, этого не случилось. И не удивительно, что такой партии люди верили все меньше и меньше, хотя социализм как систему не отвергали. А Яшин был в их числе. Это особенно становится ясно, когда перечитываешь его стихи.

II

В отличие от Яшина-прозаика Яшин-поэт был более благополучен, если иметь в виду общественный, социальный резонанс его поэзии. Он рано начал печататься в журналах, литературная критика благосклонно и доброжелательно встречала каждый новый сборник его стихов; была замечена и первая его московская книжка, вышедшая в одном из самых престижных издательств, когда ему было 25 лет.

В начале войны в патриотическом порыве он вступил в партию, был призван в армию и направлен на Ленинградский фронт. Как поэт он, надо полагать, имел возможность “устроиться” по специальности в редакцию фронтовой газеты (большинство писателей-москвичей так и сделали), но предпочел остаться в строю в одном из подразделений морской пехоты. Сохранилось письмо, посланное поэтом с фронта некой С. В. Щириной, рекомендовавшей его (видимо, в Литинституте) в кандидаты, а потом и в члены партии: “Я все время был на передовых позициях, — докладывал поэт своему рекомендателю, — и, не позарившись на легкую славу и легкую жизнь поэта-репортера, поэта-оперативника, я тем богаче буду после войны”.

Молодой поэт (да и не он один) наивно полагал, что война будет непродолжительной и надо успеть увидеть ее своими глазами, запастись впечатлениями, чтобы потом наилучшим образом исполнить роль, так сказать, певца во стане русских воинов, оправдать звание коммуниста в экстремальных условиях фронта. “Знай, друг, — писал он Щириной, — что за время войны я ни разу не уронил звание члена партии, всегда чувствовал себя коммунистом и поступал соответственно этому”. То есть в бою не робел, делил с солдатами все трудности окопного быта.

Как это отразилось на его дальнейшей судьбе? Ответ — в том же письме: “С 13 февраля я нахожусь в госпитале. Поступил с дистрофией, но основное заболевание у меня туберкулез легких, открывшийся еще в октябре прошлого года во время постоянных ночевоч в окопах — под дождем, в грязи”.

Дистрофия, как известно, — результат длительного недоедания. Трудно представить, как и когда писались стихи в таком состоянии. Но они писались. Простые по языку (поэт понимал, к какому читателю обращается), они ложились на душу солдатам, поднимали их боевой дух, пробуждали патриотические чувства. Приведу для примера хотя бы одно из них.

ШИНЕЛЬ

Эх, шинель моя, шинель!
Длинная, походная,
В слякоть осени, в метель
Теплая и модная.

Черная,
Просторная,
Ладная,
Нарядная,
Краснофлотская подруга —
Шуба ненаглядная.

Три кармана, две полы,
Пуговицы в золоте,
Якоря на них светлы,
Как закаты в Вологде.

Грязь к тебе не пристаёт.
Полюбил тебя народ.
За одну шинель
Матроса
В гости девушка зовет.

В чистом поле и постель,
И шатер — моя шинель.
Если надо, в жгут свернется,
На ночевке вытянется,
Ветер грянет,
Дождь прольется —
Ты моя спасительница.

Мало, дюжину штиблет
Изорвешь за пару лет,
Даже танк броню меняет,
А тебе износу нет.

Неужели ж, неужель,
Я сниму свою шинель?

Может быть, и в самом деле,
Как закончится война,
Без шинели
По панели
Поведет меня жена?

Нет, покуда войны есть,
На земле смертей не счесть, —
Не снимать своих шинелей
Мы почтем за долг и честь.

1941

В августе 1942 года (по приказу командования, разумеется) поэт направляется на Сталинградский фронт, на один из кораблей Волжской военной флотилии. Долечился или нет он в Ленинградском госпитале — неизвестно. Скорей всего, нет, потому что через год примерно (уже со Сталинградского фронта) он снова попадает в госпиталь, а в марте 1944 года, из-за невозможности продолжать службу по состоянию здоровья, демобилизуется.

Шинель поэту пришлось снять, причем на год раньше, чем закончилась война...

Чтобы понять Яшина — человека и поэта — после возвращения с фронта, надо хотя бы на миг представить ту жестокую реальность, которая была ежедневной, ежечасной сутью жизни народа на четвертом году войны. Если иметь в виду материальную, физическую сторону этой сути, придется вспомнить тяжелый, на пределе человеческих возможностей труд, голод, холод, кровь, пепел... и похоронки, похоронки...

Казалось бы, что, кроме отчаяния и уныния, проклятий и слез, могло кипеть, клубиться в душе народа в такое время? Что?.. Но в том-то, может быть, и состоит загадка русской души, что в ней, как бы ни было жутко и тесно от боли и страданий, всегда есть место **надежде**, тому самому “авось”, которое не позволяет русскому человеку опустить в отчаянии руки, сдаться, смириться — даже в самом безнадежном положении.

Именно это, может быть, интуитивно уловил А. Яшин в поведении народа, вернувшись с войны. Особенно когда приехал в родную деревню. Впрочем, вернее сказать, не приехал, а пришел: от ближайшей железнодорожной станции до Блудново немеряные версты бездорожья (по слухам, не менее ста пятидесяти). Что особенно поразило поэта при встрече с земляками? Рвань-обутка и тряпье-одежда на них? Покосившиеся дворы? Затупившиеся топоры и сточенные до обушка косы?.. Да, и это. Но больше все-таки поразили стойкость, терпеливость людей, их злая вера в победу.

Нет, не агитпропом была внушена эта вера — агитпроповской надолго не хватало бы, — нутряная была у народа вера, от поколений предков усвоенная, в генах, как теперь говорят, спрессованная... Не взволноваться этим, не начать складывать героическую былинку (в смысле **быль**) о таком народе — означало не быть поэтом.

И вполне понятно, пошли стихи. Стихи, проникнутые сочувствием, преклонением, любовью к землякам — чувствами, коими Природа наделяет далеко не каждого сочинителя — только верных сынов народа. Но жизнь, разворачивавшаяся перед поэтом, была так многосложна и так непохожа на довоенную, что рассказать о ней стихами — и только стихами — было невозможно.

Возник замысел большого, сюжетного полотна — поэмы. Первые варианты названия: “После войны”, “Возвращение”... Окончательный — “Алена Фомина”. Под таким именем стала жить в поэме главная героиня — женщина, добавлю — деревенская женщина, одна из миллионов, которые заменили на время войны мужиков на всех работах и должностях, в том числе и на такой, как председатель колхоза.

Надорвались, устали бабы, но не **упустили** все-таки землю, не дали ей одичать; пахали ее на коровах, а если падали, измучившись, коровы, впрягались в плуг сами. Машины, какие были в артели перед войной, пришли в негодность, и потому жали хлеб серпами, молотили цепами, а зерно государству все равно сдавали, оставляя для **выдачи по трудов дням** одни обсевки. Чаще было именно так...

Федор Абрамов, один из авторитетов “деревенской прозы”, не без учета, думаю, творческого опыта А. Яшина, в речи на VI съезде писателей СССР (1976 г.) произнес во славу “русской бабы” вот такие слова:

“Вспомним, к примеру, только один подвиг русской бабы в минувшей войне (...) Ведь это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой еще в сорок первом году открыла второй фронт, тот фронт, которого так жаждала Советская Армия. А как, какой мерой, каким мерилом измерить подвиг все той же русской бабы в послевоенную пору, в те времена, когда она, зачастую сама голодная, раздетая и разутая, кормила и одевала страну, с истинным терпением и безропотностью русской крестьянки несла свой тяжкий крест вдовы-солдатки, матери погибших на войне сыновей!”

Уверен, под этими словами без колебаний подписался бы и А. Яшин.

Переполненный подобными чувствами, он в одной из главок своей поэмы вывел: “Трудно женщинам одним”. И следом, словно утешая их, добавил: “Вот

работники подъедут — И для каждой день победы Будет первым выходным...”

Полторы тысячи дней без выходных! Трудно представить такое, но оно было, было!..

Председательствовавший до войны Николай Козлов после тяжелого ранения вернулся домой раньше других: посчастливилось — не убили. Хотя смерть заглядывала и ему в глаза. “Широкоплечий, но плечо одно Заметно от ранения опало. С горбинкой нос, лицо обожжено, И пальца на руке недоставало”, — таким рисует поэт бывшего председателя — теперь инвалида. Козлов считает, что три года фронта и пролитая им кровь чего-нибудь да стоят, и не торопится приступать к делу, требует (и кто станет спорить? — справедливо) к себе уважения и внимания.

Подвыпив в очередной раз с другим фронтовиком (тот вернулся с фронта и вовсе без ног), куражится перед Аленой Фоминой, заменившей его на посту председателя, сердится за невнимание на жену Дуню. Та хотя и старается его ублажать, но время-то какое — жатва! Не то что остаться на денек дома — даже опоздать к несжатой полосе Дуня не может: совесть не позволяет.

И вот такая сцена происходит между ними:

И Дуня серп взяла на сундуке.
— Вот, Коленька, когда придет охота, —
Жаркое в печке, каша на шестке...
— А ты куда?
— Да ведь стоит работа.
От удивленья он протер глаза:
— Ну, вижу, ты не очень тосковала.
Потупившись, жена ему сказала:
— Ты отдыхай,
А мне в страду нельзя,
Мы здесь не воевали,
Не устали.

Боясь обидеть фронтовика-мужа, Дуня говорит не прямо, намеком: “Мы здесь не воевали, не устали”. Отдавая должное мужу, храбро сражавшемуся и пролившему кровь, она хочет, чтобы и он понимал ее, и ставит, по сути, на одну доску с ним и себя, и свою нелегкую долю, поскольку хорошо знает ей цену.

О главном столпе бабьего царства Алене Фоминой поэт пишет с необыкновенной теплотой, с доброй улыбкой: “Спасу людям нет, коль баба В председателях сидит”. А через страницу-другую о ней же, но уже всерьез: “С первых дней войны Алена Вожаком — ни угомона И ни сна, в заботах вся”.

Но не только это подкупает поэта в характере своей героини. Она, оказывается, хорошо понимает, что должность, на которую определил ее народ, требует не только “неугомона”, постоянной хозяйской заботы, распорядительности, но еще и знаний, широкого политического кругозора. И потому, чуть выдастся свободная минута (чаще к ночи), Алена раскрывает главную для той поры книгу и не просто читает, а и выписывает наиболее важные, на ее взгляд, мысли: “Шелест рябины слышен в избе. С карандашом, с тетрадкой Алена Читает “Историю ВКП(б)”.

Сколько иронических слов было написано потом по поводу этих и подобных строк в поэме: мол, тут налицо и конъюнктура, и идеализация героя... Смею утверждать: несправедливо это было по отношению к Яшину! Такое было время. “Историю ВКП(б)” читали не только полуграмотные Алены, но и академики, и члены Союза писателей СССР. Причем не просто читали — изучали. А вернее, учились жизни по ней. “Так это было на земле”, — хочется повторить тут вслед за А. Твардовским... Читали, не задумываясь, что тут правда, а что неправда. Аленам и Матренам, ни разу в жизни не раскрывавшим никаких других “научных трудов”, кроме букварей да учебников для 5—7-го классов, и в голову не приходило задумываться над этим. “Историю ВКП(б)”, как и учебники, они принимали на веру.

Случалось, правда, на занятиях политкружка кое-кто наивно любопытствовал: почему в числе революционеров, а потом и вождей революции так мало было

русских? Из вологодских, например, известен только один — Иван Васильевич Бабушкин... И еще: почему революцию, случившуюся во Франции, называют Французской, а нашу Октябрьской?..

Но и эти, любопытствующие, свою, Октябрьскую, революцию осмысливали как справедливое деяние, как возмездие “кровососам-кулакам” и буржуйам; осознавали социализм как более высокую ступень жизненного устройства, а советскую власть как власть народа.

А. Яшин был в их числе.

Пять лет работал А. Яшин над поэмой. Сделал одиннадцать вариантов, пока остановился на последнем, двенадцатом.

А. Фадеев — в ту пору генеральный секретарь СП СССР, прочитав по просьбе автора один из первых вариантов, в котором главным героем была еще не Алена Фомина, а фронтовик Николай Козлов, увидел в поэме как раз то, что требовало время. А требовало оно от писателей социального оптимизма, веры, что, победив Германию, народ победит и разруху. И потому — ни слова об усталости, о тоске и слезах по не пришедшим с войны, о голоде и холоде, о едва остывших пепелищах городов и сел, о заросших лебедой нивах...

Мы победили! И это главное. Не льется больше кровь, не полыхают города и села, и, значит, можно разгрести руины, замешивать глину, резать кирпичи, начинать кладку заводских корпусов и жилищ. А. Фадеев, видимо, почувствовал в яшинской поэме именно такой настрой и энергично, как он это умел, благословил его на продолжение работы и стал даже поторапливать поэта с ее завершением. Можно не сомневаться, что генерального писательского секретаря сверху тоже торопили: дескать, “помощниками партии” надо не только зваться, но и быть! Обычные для того времени слова.

В конце 1949 года “Алена Фомина” была напечатана (“НМ”, № 11). Критики встретили поэму вполне доброжелательно, строгая партийная власть — тоже. Автору была присуждена Сталинская премия. Жить стало легче: все-таки семеро детей (трое у первой жены), и всех надо ставить на ноги...

А главное, он обрел уверенность в себе, понял, что призвание поэта — вести человека за собой, выставлять ему в качестве примера для подражания таких сильных и благородных людей, как Алена Фомина.

Возможно, не было еще на Вологодчине колхозных вожаков, подобных Алене (хотя область велика и далеко не во всех колхозах, возглавляемых в войну женщинами, поэт побывал), но А. Яшин очень хотел — и в этом все дело, — чтобы они были. Образ Алены Фоминой — по сути, страстная проповедь поэта, подсказка, нравоучение председателям-выдвиженцам, не очень-то искушенным в трудном деле и потому нуждавшимся пока и в том, и в другом.

Да и не все в поэме было вымышленным, как писали потом быстро перестроившиеся литературные критики. Многие пришли в нее из жизни: поэт каждое послевоенное лето гостил в своем Блуднове у матери, пристально глядявшаяся в земляков, в их отношении к труду, к новым, непривычным реалиям быта, и все, что радовало его, вселяло в сердце надежду, брал на карандаш, заносил в поэму.

А тут еще представился случай побывать на Алтае. “Правда” — орган ЦК партии — предложила ему поехать туда в составе выездной редакции; он с энтузиазмом принял предложение, видя в нем возможность шире взглянуть на проблемы послевоенной деревни, сравнить Вологодчину с Алтаем, внести дополнительные краски и коррективы в поэму, работа над которой тогда все еще была не завершена.

Так вот, там, на Алтае, А. Яшин повстречал, так сказать, в природе такую женщину, какой ему в идеале представлялась Алена Фомина. Ею оказалась некая Фекла Митусова — председательша одного из колхозов, к которому выездная редакция приглядывалась с особенным интересом. Фекла Митусова окончательно сломала первоначальный замысел поэмы; Алена Фомина со второй роли вышла на первую, вобрав в себя многое из того по-настоящему красивого, нового, человеческого, что было в характере “натуры”.

Замечать в людях хорошее, доброе, человеческое — так А. Яшин понимал свою задачу как поэта. Замечать, а не выдумывать, потому как нет в этом

необходимости: хороших людей на свете больше, чем плохих. В это он верил всегда, даже в самые трудные минуты жизни, а в 1966 году веру эту отлил даже в поэтические строки:

Когда меня сгибают неудачи,
растерянность душой овладевает,
бессонница и страх, —
бывает все! —
я вспоминаю о хороших людях,
о тех, мне близких
и не очень близких,
а просто повстречавшихся в дороге,
о людях с чистой совестью бойцов,
которых больше все же на планете, —
конечно, больше! —
чем приспособленцев,
чем карьеристов и самоснабженцев,
бесстыжих болтунов и графоманов, —
и мне становится легко на сердце,
ну, не совсем, быть может,
но спокойней,
и хочется еще пожить на свете,
полюбоваться небом и землей.

Один из тех, которых “больше на планете”, — конюх из одноименного стихотворения, помеченного 1947 годом.

...Скромный, честный работяга вместе с другими “хорошими людьми” удостоился правительственной награды. Вручить ордена и медали начальство приехало прямо в колхоз. Каждый из счастливицков, приняв в большую заскорузлую ладонь маленькую красную коробочку, смущенно, негромко, но все-таки произносил два главных для такого случая слова: “Служу народу!”, а конюх — тот растерялся, не сказал ни “да”, ни “нет”, повернулся и, глядя себе под ноги, пошел на свое место. Дальше надо цитировать, потому как пересказывать хорошее стихотворение — только портить дело.

...А потом, когда с собранья
Вышел конюх, как из бани,
Мокрый весь,
Никто в ограде,
В темноте не разглядел,
Как он бороду разгладил,
Как на грудь медаль приладил,
Как он вдруг помолодел.

...Не домой пошел — в конюшню,
С лошадьми поговорить,
Кстати, пару непослушных
Случай выпал пристыдить.
Кони радостно заржали
И, взглядевшись в полутьму,
Словно бы из-за медали,
Головами закивали,
Как бы кланяясь ему...

...Вдоль конюшни от порога,
Как вдоль строя генерал,
Он шагал — хозяин строгий,
Лошадей журил, трепал,
Крупы гладил, гривы трогал
И для каждой хоть немного,
Хоть два слова, да сказал.

Сосунок, еще без толку,
Маленький, как горбунок,
Мокрой мордой ткнулся в бок.
Он схватил его за челку:
— Признаешь теперь, сынок?

Напоследок ярового
Всем засыпал:
— Ешьте всыть!
Чур, меня не подводить,
Поутру — за дело снова:
Вам за конюха такого
Бога надобно молить.

Нельзя не почувствовать уже в самой интонации рассказа, как поэт любит героя, близким ему и понятным с детских лет. Такая манера пришлась, видимо, по душе и самому А. Яшину. Правда, улавливалось в ней влияние А. Твардовского (стихотворение “Ленин и печник”), но только улавливалось: по складу и ладу она оставалась яшинской. И он успешно пользовался ею, пока...

Но не буду забегать вперед.

Помня о времени, главной сутью которого было **созидание**, А. Яшин принимает решение жить и творить в согласии с ним, а для этого необходимо было вырваться за деревенскую околицу, увидеть своими глазами “великие стройки коммунизма”, о которых так громко трубили радио и газеты. “Для писателя, — занес он в записную книжку в те годы, — естественно желание видеть как можно больше, всегда быть вместе с народом и в меру сил содействовать его великим свершениям”.

Содействовать... Но чем?

Творчеством, и только творчеством. Другой возможности, другого “оружия” у писателя нет. Но согласитесь: далеко не каждый писатель именно так понимал роль и назначение “оружия”, которым он по благословию Божьему владел. Маяковский — да, понимал: “И мне агитпроп в зубах навяз, И мне бы строчить романсы на вас, — Доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь На горло собственной песне”.

Не трудно догадаться: какой песне на горло становился поэт. Да той самой, которая под всхлипы “семиструнной” в любое время доносится “из барских садоводств” поэзии... “Горлану-главарю”, “агитатору”, “ассенизатору и водовозу”, как определил себя В. Маяковский, в “барских садоводствах” делать было нечего, и он, демонстративно хлопнув дверью, покинул их, “ушел на фронт”, хорошо разобравшись в том, “в каком идти, в каком сражаться стане”.

А. Яшин, выводя на бумаге большое, предполагающее огромную душевную энергию и политическую активность слово **“содействовать”**, смею думать, учитывал опыт “лучшего поэта советской эпохи” (И. Сталин), решительно заявлял о своем намерении следовать ему.

Понимаю, в наше время такое намерение многими будет “прокомментировано”, в лучшем случае, многозначительной ухмылкой. Ну что ж, извольте, господа, ухмыляйтесь... Но оно было все-таки, было такое время, когда намерение “содействовать народу” большинством писателей воспринималось как вполне естественное намерение, как нравственная норма, как творческое кредо. И удивляться тут нечему.

Какую еще задачу мог ставить перед собой писатель, осознавший себя сыном великого народа, только что разгромившего самую сильную армию Европы вместе с ее “пристяжными” и теперь дружно, самоотверженно взявшегося за послевоенное восстановление, а точнее — преображение Родины?

Удивительное, эпохальное было это явление — “великие стройки”! В развалинах лежали многие города, люди жили еще в землянках, не восстановленными оставались заводы и шахты, не поднятыми железнодорожные мосты, не отстроенными школы, а народ уже замахнулся на такие дела. Канал Волго-Дон, Куйбышевская и Сталинградская ГЭС. Вдобавок — лесополосы в южных степях, подготовка к штурму космоса, атомные реакторы...

Сам А. Яшин об этом времени написал так:

Еще у раздольев Волги,
На светлом ее берегу,
Окопы, воронки, осколки
Встречаем на каждом шагу.
Еще не закрылись раны
Недавних боев... Но вот
Пришли многотонные краны
И время рванули вперед.

Немного высокопарно, согласен, но по духу, по настроению — абсолютно точно. Я хорошо помню то, устремившееся вперед, время. Радио с утра до вечера передавало сводки со строек, гремело бодрыми, окрашенными романтикой песнями. И всё — с одной целью: поддержать хороший настрой в народе и особенно в молодежи. Ей предоставлялась возможность испытать себя в настоящем деле, не опозориться перед отцами-победителями, закончившими войну в поверженном Берлине.

Вспоминая о том времени, сегодня особенно хорошо понимаешь, насколько жалки и трусливы установки нынешних “демократов” на деполитизацию всей жизни народа. На такой шаг могла пойти только такая власть, которой нечего сказать своему народу, нечем вдохновить, некуда позвать. Как громко ни кричи: “Вперед к капитализму!”, а слышится: “Поворачивай оглобли!”

Ну нет, господа. Поворачивать с половины дороги никогда не было по душе русскому человеку. И нет ничего удивительного в том, что оглобли-то вроде бы и повернули, а воз — огромный воз, каким является Россия, — ни с места: лопнули гужи, и лошадь — о дорогу хомутом...

Сколько бы ни иронизировали “демократы” по поводу партии, называвшей себя “ведущей и направляющей силой” в стране, сколько бы ни порочили ее за это, она-таки была и ведущей, и направляющей, особенно в годы войны и восстановления разрушенного войной хозяйства. Ни одна страна не обладала такой возможностью — одним властным словом (политизированным словом, господа!) приводить в движение огромные массы людей, сосредоточивать в нужном месте все имеющиеся ресурсы и технику и начинать грандиозное, судьбоносное для страны дело.

Великие послевоенные стройки — ярчайшее тому подтверждение. Партия поставила задачу — и народ ее поддержал! — не просто поднять страну из руин, поднять на более высокую ступень, преобразить ее. Мог ли не вдохновиться такой идеей А. Яшин, мог ли не быть в такой момент с народом, не содействовать ему в его стремлении воплотить эту идею в жизнь? Нет, не мог. И не только потому, что был “заводным” по характеру, готовым, несмотря на годы, “задрать штаны, бежать за комсомолом”, нет — ему по душе были “планы партии”, он видел в них блестящую перспективу для народа, для государства. Наблюдать со стороны за историческими деяниями народа поэт-коммунист не мог, это было не в его натуре... И вот — он на Волго-Доне. Вернувшись оттуда, едет к строителям Куйбышевской ГЭС, потом Сталинградской, потом — к целинникам на Алтай...

Конечно, видел он на этих стройках не только радующие глаз и сердце картины. Некоторые объекты будущего Волго-Донского канала, например, строились зэками, и характерной деталью пейзажа вокруг них были сторожевые вышки. Видел и, конечно, огорчался, мучился... Но принимал их (я в этом уверен), как издержки бурного времени: ведь пять лет всего лишь прошло, как закончилась война, а в войну, увы, были и власовцы, и полицаи, и бандеровцы, и дезертиры...

Что говорить, неприятное “открытие” сделал поэт, побывав на строительстве Волго-Донского канала. Но оно не погасило в душе его энтузиазма, с которым он встретил известие о великих стройках. И первые его стихи оттуда были, конечно же, не о сторожевых вышках, а о сильных людях, романтиках, непоседах, сменивших городские квартиры на палатки в степи, хорошо понимавших государственную важность дела, за которое взялись...

... Бригадир плотников на строительстве Куйбышевской ГЭС, этакий строгий дядька, приняв очередное пополнение из “необстрелянных” юнцов, говорит им: “Ну, пойдёмте, покажу Ваше место на планете”. Не на стройплощадке, не в котловане определил новобранцам рабочее место бригадир, а на планете! На виду у всего мира. А мир (впрочем, точнее будет сказать — Запад) действительно вовсю пялил глаза на то, что происходило в послевоенной России (так на Западе продолжали называть СССР). И чем пристальнее он вглядывался, тем больше нервничал, зло посмеиваясь над предсказаниями своих пророков насчет того, что ей, России, и ста лет не хватит, чтобы восстановиться после войны, преодолеть разруху.

Нервничал Запад и, как нам стало вскоре известно, сожалел в открытую, что произойти это может значительно быстрее. Могучая, восстановившая свой промышленный, научный и оборонный потенциал Россия Западу была не нужна: слишком серьезный соперник!

Нынешние дни полностью это подтвердили.

Поэт А. Яшин, как истинный патриот, назвал врагам пел Россию могучую, славил ее работающий, отзывчивый и сильный духом народ. И это было главным, что он вынес из встречи с рабочими великих строек.

Смотрите, люди вселенной,
Как коммунизм растет! —

таким призывом он заканчивает одно из стихотворений, написанных на стройке. И я ни на минуту не сомневаюсь в искренности этого призыва, потому как слышу: трещит на нем рубашка от распирающей его гордости за свою великую страну, которая, как птица феникс, возрождается из пепла, разворачивает стройки (как угодно их называйте!), нацеливаясь во всем встать вровень с веком. И он очень хочет, чтобы “люди вселенной” увидели не только гребни новых плотин, прорытые каналы, мощную технику, но и людей. А это целиком зависело от “инженеров человеческих душ” и, значит, от него — тоже.

Чтобы его герои выглядели как можно реалистичней и привлекательней, он все чаще прибегает к излюбленному издавна сюжетному, повествовательному стиху, позволявшему, на его взгляд, делать это наилучшим образом.

По поселку в выходной
Шли под ручку муж с женой,
У нее вся грудь в медалях,
А у мужа ни одной.

Четыре строчки, полтора десятка слов, а экспозиция “рассказа” вся налицо. Да и настрой тоже ясен: этакий светлый юморок, а вместе с тем и любование героями “рассказа”, и гордость за них. Читателя подкупает еще и необычность ситуации: здоровый мужик — и без медалей!.. Это сразу после войны-то! Да как же могло такое случиться?! Народ незлобиво, но все-таки подшучивает над незадачливым мужичком... И вот — финал:

И, до смерти смущена,
Тычет мужа в бок жена:
— Я ль тебе не говорила,
Надевал бы ордена!

Но резон у мужа свой.
Шепчет:
— Тихо, Катерина!
Так нагляднее картина,
Пусть любят тебя тобой!

Красивые люди! Что тут скажешь?..

Книжку, в которую вошли стихи о людях великих строек, А. Яшин назвал довольно-таки рискованно: “Советский человек”. Слишком претенциозным (а

теперь сказали бы — политизированным) было название даже для того времени.

И, добавлю, слишком привычным для глаза и для слуха, то есть тем самым, что подразумевалось в те времена под газетным штампом. Человека, понимающего поэзию, такое название могло и смутить, и даже оттолкнуть.

Современному читателю оно кажется еще более странным, он усматривает в нем конъюнктурные соображения автора, желание выслужиться перед властями. Однако смею утверждать: это было не так! Поэт А. Яшин в те годы (первые послевоенные) был **человеком веры**. А вера, как известно, предполагает **Правду**. Для А. Яшина Правдой была не только война, не только послевоенная разруха, физическая и психологическая усталость людей, — Правдой для него был и высокий моральный дух Человека-победителя, Человека-созидателя.

Советского человека!

В нем, в советском человеке, продолжало жить гордое, молитвенно затверженное: “Наше дело правое!..” В том числе и **то** дело, которым он был занят сию минуту, прибираясь в своем доме после налета грабителей, подметая черепки разбитых горшков, стекла окна, затепливая очаг... В стихах об этом он сказал так:

Нас враги не запугают воём.
Наше дело правое: мы строим!

И потому можно с уверенностью сказать, что он нисколько не лукавил, вынося на обложку книги два самых значительных для него слова: “Советский человек”! Он ставил себе благороднейшую задачу наполнить плотью и кровью эти слова, раскрыть в образах и поступках своих героев подлинный смысл этих слов, дабы и другу и врагу стало ясно, что советский человек — это человек именно советский и никакой другой, что он в современном мире смотрится на особинку, потому как в его характере проявились и устоялись черты, каких раньше не было. И главная из этих (новых) черт — вера в лучшее будущее, в социалистическую идею и, значит, вера в человека, **олицетворяющего** эту идею, — в вождя.

Через пять лет, на XX съезде партии (1956 г.), она, эта вера, была взорвана как унижительная для народа, поскольку оказалась порождением такого явления, как “культ личности”...

Миллионам простых людей, таким, как деревенская вдова, мать четверых детей Марфа Павловна (из стихотворения “На семейном празднике”), развенчание “культа личности” буквально перевернуло душу, выбило почву из-под ног. Еще вчера Марфа говорила своим повзрослевшим детям, собравшимся за праздничным столом:

Если б Сталина мне хоть раз
В жизни вдруг повидать случилось,
Я бы в пояс ему поклонилась,
За себя
И за всех за вас.

И говорила искренне... Потому что в самом деле была благодарна вождю, а значит, Советской власти, за то, что не пропала, овдовев, подняла на ноги четверых детей... Да что Марфа! И сам поэт искренне верил в мудрость и непогрешимость вождя: “Вас миллионы так называли, — Предан Вам народ до конца”. Он считает за честь состоять в партии, возглавляемой им:

Как первую присягу коммуниста,
Взволнованный,
Произношу обет:
— Мой партбилет! Клянусь, он будет чистым
Всегда, каким был Ленинский билет!

После такого обета-клятвы естественно и вполне убедительно звучат строки и из другого стихотворения той поры: “Да, я солдат! Да, я служу народу, Я партии, я Родине служу!” Служение партии для него, как видим, не самоцель, а всего лишь возможность служить народу. Это — главное. Не понимая этого, нельзя понять всю глубину трагедии, пережитой поэтом после XX съезда партии.

Кто-то из нынешних читателей усомнится в искренности поэта, прочитав приведенные выше строки, а кто-то и поверит, но при этом снисходительно добавит: наивен, дескать, и темен был поэт. Допустим, — хочется сказать этому читателю. Ну, а М. Исаковский — один из крупнейших русских поэтов, выходит, тоже был “темен”? Ведь это он написал: “Мы так Вам верили, товарищ Сталин, Как может быть, не верили себе”. Мы верили, а не я верил... От имени всего народа говорил эти слова русский национальный поэт, и народ с чистым сердцем повторял их как свои. Да и А. Твардовский не был безгрешен по части культа, не говоря уж об А. Суркове, Н. Тихонове и многих других.

Кстати, “наивным” и “темным” оказался и такой поэт, как Б. Пастернак. Вот строки из его стихотворения о Сталине:

За древней каменной стеной
Не человек живет — деянье,
Поступок ростом с шар земной!

Чем это объяснить? Одним неведением (а писатели действительно многого из того, что было сказано Хрущевым на съезде, не знали)? А может быть, изначально, благоговейной верой людей в печатное слово, той самой, какая утвердилась в них, когда они еще не умели читать? Да и сказанному слову — тоже, особенно если оно слетало с высокой колокольни.

В ту пору еще не было известно такое словцо, как “зомбирование”, но действие, обозначаемое им, было. И был механизм, который это действие производил, и главными приводными ремнями его были радио и газеты (телевидения еще не существовало). Люди старшего поколения хорошо помнят, как работал тот механизм, особенно в послевоенные годы. Песни, звучавшие с утра до ночи по радио, были сплошь величальными вождю, разговоры — о его мудрых деяниях и великих предначертаниях.

Действовало это на сознание людей? Несомненно! В результате чего они и становились непробиваемыми “зомби”, какими сегодня являются их дети и внуки, которых, вдобавок к радио и газетам, теперь дуриет еще и телевидение...

И все же, все же... Можно ли этим, и только этим, объяснить лояльность по отношению к культуре Сталина и творческой интеллигенции, и ученых, и учителей, и миллионов простых людей? Отчасти, наверное, да. Но более точным и справедливым объяснением этого феномена, на мой взгляд, явилось бы признание того исторического факта, что был не только культ (понятие все-таки отвлеченное, эфирное), но была еще и личность и были великие дела, которые народ связывал с этой личностью.

Говоря сегодня о Сталине, одни вспоминают именно эти дела, крепившие мощь государства, прибавлявшие ему славы и международного авторитета, другие вспоминают не дела, а злодеяния — и только злодеяния! — и оправдывают ими ненависть к нему.

Поэт А. Яшин в отношении к Сталину отличался от Марфы — героини своего стихотворения, пожалуй, только тем, что чувства к нему выражал в восторженных стихах и тиражировал их, в то время как Марфа хранила такие чувства в душе, и если выказывала — то только перед детьми. Тяжело было Марфе, подчеркну еще раз, слышать брань и хулу в адрес “отца родного”, великого, как она уверовала, человека, вождя. Поэту-коммунисту А. Яшину, мне кажется, было не легче. Доклад Н. Хрущева на XX съезде буквально ошеломил его, внес в душу смятение и боль.

Получалось, что партия “своею собственной рукой”, на глазах у всего народа (да нет, — у всего мира!) рушила башню веры, с таким упорством возводившуюся в душах людей, в том числе и поэтов, почти три десятилетия.

Н. Хрущев чувствовал себя героем, топча и пиная усопшего льва. Пылая мстительным чувством (никак не мог забыть: “А ну, Никита, попляши!”), он не жалел красок, чтобы развенчать Сталина, возложить на него (и только на него!) вину за массовые репрессии 1936—1938 годов и особенно за избиение “ленинской гвардии”, представлявшей собой “родной” для России Интернационал.

Выставляя к позорному столбу главу государства и партии, он не понимал, что этим самым наносит сильнейший удар по социализму как системе, дает старт мстительным силам, ненавидящим его. В этом смысле с полным правом можно сказать, что начало пресловутой “перестройки”, обернувшейся государственным переворотом, было положено на XX съезде партии.

Ведущий критик и публицист нашего времени Михаил Лобанов, анализируя события тех лет, справедливо заявляет: “Именно тогда, при Хрущеве, в литературе, в интеллигентском сознании были посеяны те ядовитые семена нигилизма, которые вскоре проросли отрицанием всякого положительного опыта страны, ее истории, и расцвели махровым цветом в “перестройку”, обратившись в разрушительную силу для государства”.

Сейчас это понимают многие писатели. Но тогда... тогда они просто переживали случившееся, страдали, соотнося свое творчество с открывшейся им жестокой правдой. Одни страдали больше, другие меньше...

Яшин принадлежал к тем, кто “больше”... Выходило, что все эти годы (к съезду он подошел 43-летним) он как поэт “лакировал действительность”, то есть кривил душой, врал, способствовал раздуванию “культы” диктатора...

Не сразу решился он на публичное признание своего нравственного поражения, но все-таки решился, правда, смягчив его, назвав свое поклонение вождю “заблуждением”, включив в него извинительный мотив: “Я верил... я верил!”

В охотничьем вдохновеньи
Я братьев по шалашу
Вводил, так сказать, в заблужденьи...
Но вот что заметить прошу:
Я сам себе верил при этом,
Впадая почти в забытье,
Как верят одни лишь поэты —
И в том оправданье мое.

(“Исповедь”, 1958 г.)

Этим чистосердечным признанием поэт вроде бы и оправдался перед читателями, но перед самим собой — ничуть: совесть продолжала мучить его, восторженное, оптимистичное отношение к жизни сменилось в душе черным скептицизмом, разочарованием и, кажется, даже злостью на самого себя, столь легко обманувшегося. Многие стихи о деревне — и свои, и других поэтов — стали казаться ему никчемными, далекими от правды жизни, показушными, и он принялся высмеивать их — сам!

“Прочитали мы рассказ — все про нас да про нас”, — так начинается стихотворение “Показуха”, написанное от лица крестьян. “Прочитали...” — и что же увидели? А вот что:

По загонам табуны —
Рысаки да скакуны:
Гладкотелы, быстрокрылы,
На бегах проверены.
Ни одной простой кобылы,
Мерины
Похерены.
Все коровы рекордистки,
Все девчата трактористки,
Все молодки депутатки,
Все в довольстве и в достатке.

Образцовые порядки,
Как во всякой сказке-складке.

И в конце с иронией (опять-таки от лица колхозников) добавляет:

Все имеем, что хотели,
Больше не о чем тужить.
Нам бы в этой артели
Хоть денек пожить!

В другом стихотворении, оставшемся неопубликованным при жизни и датированном 1958 годом (после XX съезда прошло два года), он уже не смеется над собой, а горько сожалеет о случившемся и, обращаясь к родному полю, просит прощения у него. Мысль, посетившая поэта в ту минуту, показалась ему настолько сокровенной и важной, что он пренебрег и рифмой, и размером, записал ее такими словами и в такой интонации, какие только и могли ей соответствовать:

Прости меня, поле, за неурожай,
за пустоши.
Прости меня, родная земля,
Я рожден здесь для того, чтобы видеть
И обо всем рассказать другим,
А я долго на все закрывал глаза.

“Закрывал глаза...” — честно и мужественно признался поэт. И это признание означало не только раскаяние, но и клятву: больше такого он себе не позволит. Никогда!

Но спрашивается: почему позволял? Не придавал значения известным “недостаткам”? Или боялся сказать о них? Не то и не другое. Он искренне верил в разумность одного из главных установлений соцреализма — замечать в первую очередь “ростки нового”, прогрессивного, видеть людей нравственно красивых, мужественных, описывать их трудовые подвиги.

XX съезд эту веру в нем поколебал, даже больше — разрушил.

И вот результат: свой долг теперь он стал видеть совсем в ином — в разоблачении всякого рода глупостей в колхозном строительстве, в критике аграрной политики партии. Однако критику эту он рассматривал — и это надо подчеркнуть — не как самоцель, а как возможность повлиять на политику. В очерке той поры, озаглавленном “Ладно ли?”, он более чем определенно высказался на этот счет:

“Вот и я... приезжаю в родные места и тоже начинаю думать, приглядываться и прислушиваться ко всему, вникать в мелочи сельской жизни, и у меня появляется потребность высказаться — ведь может статься, что подмечу я и выложу на общий суд что-то и правильное. Пользы же я хочу, а не вреда”.

Мысль эта все время занимала его, и он вернулся к ней в дневнике: “Если бы предположить, что выступления писателей, знающих деревню, принимались как сигналы, многое плохое можно было бы остановить раньше...”

Поэзия как жанр для таких “сигналов”, решил, по-видимому, он, не совсем подходила. В прозе можно было глубже выразить проблемы деревни, достичь психологической глубины в обрисовке характеров селян.

Так появился рассказ “Рычаги”, громко просигналивший руководству о необходимости внести коррективы в стиль и методы партийной работы в деревне. Автор праздновал свой дебют в прозе, полагая, что “сигнал” будет услышан и волюнтаризму и формализму в руководстве колхозами будет положен конец, но... увы. Страх перед правдивым словом русского писателя оказался сильнее здравого рассудка. И А. Яшину стало абсолютно ясно, что пресловутая “оттепель” была явной аномалией для идеологической погоды того времени. Возмутиться, заявить протест не представлялось возможным. Разве только вот так, иносказательно:

Доверчиво оттаяла природа,
Как снова вероломство, непогода,
И холодом дохнуло с высоты.

Дохнуло холодом... Читай: тем же партийным диктатом, тем же произволом цензуры...

Прошло еще два-три года, и "холод" усилился, сковал не только руку, державшую перо, но и душу. И произошло это после появления в печати его новой прозы — повести "Вологодская свадьба". Не ахти какие разоблачения были сделаны автором "Свадьбы", а в идеологических верхах партии произошел настоящий переполох (выше я подробно рассказал об этом)...

При новой встрече с малой родиной А. Яшин был возмущен волюнтаризмом районного руководства, вынудившего колхозников заготавливать для скота осиновые и березовые веники ("веточный корм"), жать в озере осоку серпами, в то время как заливные луга оставались нескошенными, уходили под снег.

Меня мужики называют своим поэтом.
"Как же так?"
"Ладно ли?" — пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?!
Я сочиняю стихи
Про желтые листья...

Нетрудно заметить, что в подтексте этого стихотворения не только горькое осознание своей творческой несвободы, но и протест — хотя и пассивный — властям, запрещающим правдивое слово о положении дел в деревне. А землякам он как бы объясняет свою вынужденную отстраненность от их бед, физических и нравственных страданий, дает понять им, что стихи с гражданственным, социальным содержанием, увы, не имеют ходу, шанс опубликовать их практически равен нулю.

Был ли выход из этого положения? И искал ли его А. Яшин? Искал. И находил. В том числе в стихах с подтекстом. Вдумчивый читатель улавливал в них кроме прямого смысла второй, параллельный ему — чаще всего житейский, а иногда и философский и даже политический. Выше я уже демонстрировал такие стихи.

Приведу еще одно, озаглавленное "После снегопада". Оказавшись в зимнем лесу, поэт прокладывает лыжню меж согнувшихся под тяжестью снега деревьев:

С палкой бреду бамбуковой, —
С пикой былинный витязь.
По деревьям постукиваю:
— Выпрямитесь, разогнитесь!

Не к деревьям он обращается тут, конечно, — к людям, сожалея, а сказать точнее, страдая от того, что они, **согнувшись один раз, забыли совсем о своем человеческом достоинстве, что терпение их переросло в равнодушие, а равнодушие — в привычку. И он нетерпеливо окликает их, да и не только их, — нас, нынешних, тоже: "Выпрямитесь, разогнитесь!"**

Стихи с подтекстом составили довольно заметный раздел в книге "Советь" ("Советский писатель", М., 1960), но все-таки не главный. Эту роль взяла на себя стихи-проповеди, стихи-притчи, стихи-раздумья. И это тоже был выход из положения, вторая счастливая творческая находка, позволившая ему не потеряться в пору "заморозка", не оцепенеть, как деревья в зимнем лесу.

В обстановке второй половины пятидесятых — начала шестидесятых годов такие стихи давали поэту хоть какую-то возможность говорить о наиболее болезненном... Как бы ни была остра мучившая его проблема, он говорит о ней нарочито спокойно, философски отрешенно, как говорят проповедники и пророки. Он размышляет. Думает вслух. Ну а размышлять не заказано никому. В том числе и вслух.

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство...
Но есть еще:
Совесьь,
Честь...
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!

Трудно оспорить подобное утверждение. Даже цензору. И стихотворение появилось в книге. А вот в монографии, посвященной творчеству поэта и изданной почти на два десятка лет позднее книги "Совесьь"*, строку "А есть еще совесьь, честь" цензор все-таки вычеркнул, собравив, видимо, что намекать "руководству" на совесьь и честь не безопасно.

Подобных стихотворений в книге "Совесьь" немало. Но я приведу еще, пожалуй, только два, на мой взгляд, наиболее значительных с социальной и нравственной точек зрения, да и с поэтической — тоже.

Для начала — только строфы из стихотворения "Торжественное обещание", помеченного 1959 годом:

Давайте же будем правдивыми
И впредь
Во всем
До конца:
Бренчаниями фальшивыми,
Писаниями хвастливыми
Не разогреть сердца.

Во имя грядущего нашего
Попробуем не приукрашивать
Ни мыслей своих, ни заслуг,
Ни прошлого, ни настоящего...
Ужели не сможем, друг?

Последняя строка здесь, скажем прямо, несколько неожиданна: поэт призывает к совести, к порядочности **друга**, забыв, что начинал "проповедь" с обращения **ко всем**: "Давайте же будем правдивыми..." "Друг" в концовке появился, видимо, по цензурным соображениям. И слова: "Попробуем не приукрашивать... ни прошлого, ни настоящего", — по сути, главные слова "проповеди" обращены не к нему — к руководителям партии и государства. На первый взгляд ничего крамольного в них, в смысле — обидного, оскорбительного для власти, вроде бы и нет, — только призыв, только просьба, — но если прислушаться, можно уловить в них еще и упрек и даже обвинение в чрезмерной хвастливости по поводу того, что есть, и постоянном приукрашивании того, что было.

Вполне возможно, что цензор, поняв это, уже заносил над стихотворением красный карандаш, но поэт стоял на своем: "Я обращаюсь к другу... к другу-писателю! И не больше. Вот, читайте: "Ужели не сможем, друг?" И цензор вынужден был карандаш отложить.

Второе стихотворение "Орел" я приведу полностью: это тот самый случай, когда "из песни слова не выкинешь". Хотя назвать его хочется не песней, а притчей, — красиво рассказанной притчей о сильной и гордой птице — обитательнице горных вершин и ущелий.

* Ал. Михайлов. Александр Яшин ("Советская Россия", М., 1975).

ОРЕЛ

Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.

А он спокойно свой покинул камень,
Не оглянувшись даже на стрелка,
И, как всегда,
Широкими кругами,
Не торопясь, ушел за облака.

Быть может, дробь совсем мелка была —
Для перепелок, а не для орла?
Иль задрожала у стрелка рука
И покачнулся ствол дробовика?
Нет, ни дробинки не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.

Чем привлекла А. Яшина эта, может быть, случайно услышанная притча об орле? Скорее всего, некоторой схожестью с собственной судьбой. Критика, обрушившаяся на него по выходе в свет рассказа "Рычаги", для него была тоже как выстрел из-за угла, неожиданной, и хотя не смертельной, но весьма и весьма болезненной. Упасть он не упал, но переживал здорово, правда, не хныча, не роняя достоинства, молча, чтоб "враг не видел, не торжествовал".

Чуть позже написалось даже стихотворение, в котором угадывался явный намек на эту критику... В родном бору "всполошились вороны", раскаркались... Слушал он, слушал эту картавую музыку, а потом плюнул и сказал себе:

А воробы?
Да ну их к Богу!
Я ж в своем, не в чужом бору.
Пусть кричат, поднимают тревогу —
Я от карканья не умру! —

сказал с ощущением нравственного превосходства над "воронами" и даже презрения к ним.

Напомню читателям еще раз: все эти стихи из книги "Совесь", созданной в течение трех-четырёх лет после XX съезда. В своем дневнике, не столько для себя, сколько для потомков, он сделал такую запись по поводу этой книги: "Из тридцати с лишним поэтических сборников лучшей книгой считаю книгу стихов "Совесь", вышедшую в 1961 году. Это плод моего запоздалого "переходного возраста", она выстрадана, а не сочинена".

Что такое "переходный возраст", каждый знает по себе: ты уже не выюнош, но еще и не зрелый муж с устоявшимся характером, со сформировавшимся мировоззрением. И то, и другое еще впереди, и они могут стать твоей сущностью быстро, а могут и отодвинуться, иногда на годы и годы — многое тут зависит от обстоятельств. А. Яшин свой "переходный возраст" назвал "запоздалым".

Тревожно и грозно,
Тем боле, что поздно,
И мой наступил
Переходный возраст, —

написал он в одном стихотворении той поры. А в дневнике за 1959 год по этому же поводу добавил: "Переходный возраст — это о том, как в человеке проснулась совесть". Мне кажется, не совсем точно выразился тут А. Яшин. Не "совесь проснулась", а прозрение пришло. Бессовестным он не был и до

той черты, которую провел по его жизни XX съезд, просто понимание жизни было другое, а если глядеть шире — другое мировоззрение.

В письме Федору Абрамову он именно так осмысливает случившееся с ним: “Я был просто очень верующим и слепым”. Был слепым. Вчера. Сегодня прозрел.

И хотя поэт понимал, что личной его вины в том, что совесть его “проснулась” с запозданием, нет — такова была идеологическая атмосфера, — все равно сожалел об этом, считая, что многое мог бы сказать не так, как сказал, — и внятней, и громче.

Но — нет худа без добра! Решив, что упущенное еще можно наверстать, но сделать это средствами поэзии невозможно, он всерьез, профессионально взялся за прозу. Стихи как бы сами собой отошли на второй план: проза требовала времени и времени.

Так появились повести — в 1962 году сразу две: “Сирота” (“Москва”) и “Вологодская свадьба” (“Новый мир”), а в 1965 году — рассказ “Угощаю рябиной”. Появились спустя шесть-семь лет после публикации “Рычагов”. Можно подумать, что он в эти годы прозу опять не писал. Но это не так. Писал, но пробиться с нею в печать не мог. Повести “Высочка”, “Единомышленники”, “Баба-Яга”, многочисленные рассказы ему так и не пришлось увидеть напечатанными, они были опубликованы журналами “Наш современник”, “Звезда”, газетой “Литературная Россия” уже после его кончины.

В ноябре 1962 года, уже твердо зная, что повесть “Вологодская свадьба” появится в декабрьском номере журнала “Новый мир” и испытывая в связи с этим вполне понятную радость, — дескать, могу, значит, могу! — он записал в дневнике: “Если бы мне удалось написать то, что задумано, прожито, осмыслено, — я испытал бы свою вину перед собой, что слишком долго не брался всерьез за прозу”.

Что верно, то верно, — добавим мы: слишком долго не брался. Со стороны это особенно хорошо видно. В результате талант прозаика как еще одну сильнейшую грань своего дарования он полностью проявить так и не успел. На мой взгляд, уже “Алену Фомину” он должен был писать прозой. Похоже, что и сам поэт пришел к такому же выводу, назвав в конце концов это объемное, многоплановое поэтическое произведение не поэмой, а “повестью в стихах”.

А. Яшин был поэтом глубоко социальным. Для него главным в стихах были не чувства, не красоты пейзажа, а социальная и нравственная проблематика, характеры людей. Исповедуя гражданственность поэзии, обязательность ее связи с жизнью, он с этой же меркой подходит к стихам и других поэтов. Прочитав сборник стихов молодого земляка А. Романова, он по-отечески мягко, но требовательно выговаривает: “Не ставите перед собой больших задач, не лезете на рожон... Надо лезть напролом, на стенку...”

О своих коллегах, московских поэтах, тоже не желавших “лезть напролом”, он высказался с убийственной иронией и даже презрением:

С терпением, со смирением,
Устав от душевных смут,
Друзья мои потепления
Как манны небесной ждут.

Здесь что ни слово — то упрек друзьям, обвинение в малодушии, в обывательщине, в гражданской пассивности и... презрение к такой жизненной позиции, к позиции “премудрого пескаря”.

Не принимала его душа и тех, кто пробавлялся формалистическими (“новаторскими”) изысками, предлагал читателям словесные ребусы. В статье о поэзии он написал: “Никакая техническая изощренность не выручит и талантливого поэта, если он утрачивает интерес к большой жизни народа, к его борьбе”.

Сегодня это звучит особенно актуально.

Много было в моей жизни событий, связанных с А. Яшиным. Но тогда, когда я ехал к нему, умирающему, вспоминались эти... Ехал, чтобы если не словами, то хотя бы глазами сказать ему последнее прости... Я знал, что нынешняя операция у него была уже третьей по счету, и хорошо понимал, что любой разговор для него в этом состоянии будет пыткой. Помню его лежащим, как мне подумалось, уже не на больничной койке, а на смертном одре, помню Злату Константиновну, сильно постаревшую, у его изголовья. И ни одного слова, ни одной фразы не помню, кроме разве вот этой: "Александр Яковлевич, я Вам медку принес... вологодского". Думал, напоминание о родине хоть на секунду отвлечет его от мрачных мыслей и физических страданий.

Через несколько дней, 11 июля 1968 года, жизнь Александра Яковлевича оборвалась. Тяжело переживая его уход, я с особенной остротой осознавал, что остался в неоплатном долгу перед ним. И когда Злата Константиновна, просматривая его рабочие тетради и дневники, обнаружила в них неопубликованные стихи и принесла их в редакцию журнала "Наш современник" (через месяц после кончины Александра Яковлевича я был утвержден главным редактором этого журнала), я очень обрадовался: судьба предоставила мне возможность вернуть моему наставнику и благодетелю хоть малую толику долга.

После этой, первой посмертной публикации стихи А. Яшина печатались в "Нашем современнике" еще пять раз и — что особенно порадовало меня — три раза печаталась проза. Представилось, с каким чувством вручил бы я ему номер с его стихами, будь он жив, вручил бы и сказал: "Всем, что удалось мне сделать в литературе, в том числе и нынешним своим положением, я обязан Вам, дорогой Александр Яковлевич!"

Удивительно, сколько раз встречались с ним (на рыбалку даже ездили вместе, на Рыбинское водохранилище, не одну уху выхлебали на острове Сладком, так поэтично описанном им потом), а я так и не смог преодолеть в себе скованности и, пожалуй, даже робости в отношениях с ним — что-то было в нем не позволявшее расслабиться, сократить расстояние, разделявшее меня — начинающего поэта-провинциала — и его, высоко вознесенного молвой москвича.

Похоронить себя поэт завещал на родине, в деревне Блудново. Впрочем, если быть точным, то не совсем и в деревне, то есть не на кладбище, где покоится прах его отца (два года всего было поэту, когда умер отец), а на берегу реки Юг, на Бобришном Угоре, стоящем от деревни на полторы-две версты. Здесь, собираясь еще жить да жить, поставил он небольшой, типично крестьянский домишко (по его словам, "охотничью избушку").

Глубоко-глубоко внизу, если смотреть с Угора, посверкивая быстрой водой меж стволов берез и сосен, струится Юг — не ахти какая река, но для Никольского района — главная. А по ее берегам — равнинному правому и обрывистому левому — леса и леса... Бесконечные лесные дали.

Красиво. Но не ради же красоты только сбегал сюда поэт из столицы. Нет, решение обрести здесь пристанище, или, как мы говорим, творческую мастерскую, я думаю, продиктовано другими соображениями... Холодно ему было в Москве, постыло, особенно после публикации злополучных "Рычагов" и "Вологодской свадьбы". Злобные, демагогические выпады газет, за которыми легко угадывалась высочайшая и, увы, не родная воля, терзали душу, выбивали перо из рук. Не помогали никакие лекарства, никакие доктора. Единственное, что могло его успокоить — это природа, любимая с детских лет река с нависающим над ней Бобришным Угором, бескрайняя тайга, не слышавшая до сих пор никаких иных звуков, кроме глухаринной вкрадчивой песни да грома небесного.

И уж, конечно, не желание отъединиться, отгородиться лесом даже от земляков подтолкнуло его на столь необычный и, на первый взгляд, даже

странный поступок — поселиться в лесу, — наоборот, желание приблизиться к ним. Одиночество, тишина — если можно назвать тишиной вершинный шум деревьев да щебетание птиц — располагали к глубоким раздумьям по поводу случившегося с ним, к горестным выводам и обобщениям и, несмотря на это, к ежедневному, дарящему радость корпенюю над листом бумаги.

Увы, радость эта была слишком короткой. В 1963 году деревенские мужики избушку достроили, поэт вселился в нее, а летом 1968 года она осиротела. Если вспомнить, что последнее время поэт уже чувствовал постоянное недомогание, то получится, что всего лишь три-четыре года была она ему любимым приютом, свидетелем трудов и вдохновений. Но и за это он благодарил свою малую родину:

Спасибо тебе, Блудново,
Деревня в лесной глуши.
Я начал писать здесь снова,
А это — хлеб для души.

Мало, слишком мало попользовалась душа столь желанным хлебом. Умирая, наверное, он больше всего сожалел об этом и потому принял решение оставить свою душу здесь на вечные времена.

Оказавшись на больничной койке, в тревожные дни, предшествовавшие операции, он отправил письмо Василию Белову, в котором была такая вот, пояшински мужественная, просьба:

“И еще одно (пока по секрету!): не забудь про место под березой, которое я тебе показывал на Бобришном Угоре. Пусть урну, но только туда... Другого ничего не признаю... Кстати, когда я ставил избушку на Бобришном Угоре, я уже имел это в виду, с самого начала: только туда!”

Родные и друзья в точности исполнили завещание поэта.

Над вечным его покоем шумит облюбленная им могучая береза; в двух-трех десятках шагов от крылечка в тени березы скорбно темнеет крест. Подойдешь ближе — и ахнешь: нет, это, оказывается, не крест — памятник. Поэт как будто только что вышел к трибуне, оперся на нее широко раскинутыми локтями, и над вечным покоем вот-вот, кажется, прозвучит:

Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.